

Гора Печали

Вот уже неделю я живу в батюшкином доме. Помогаю хозяину по мере сил в храме или в саду, хотя никакой особенной помощи там не требуется, но, видимо, как человек деликатный он не хочет, чтобы я чувствовал себя нахлебником. По воскресеньям в церкви собирается народ, не очень много, однако человек двадцать приходит. Приезжают из соседних деревень и даже из Польши. Жена священника, две их дочери и сын поют в хоре, предлагали петь и мне, но я никогда не остаюсь на службу. Ухожу гулять вдоль ручья. Матушке это, похоже, очень не нравится, и она считает меня сектантом. Я ее боюсь и правильно делаю. Она производит впечатление очень властной женщины, и мне кажется, все в доме держится на ней. Она отвозит детей в школу, ездит каждый день на работу в курортную больничку на горе, воюет с призраком судьбы, а батюшка служит. Не для людей, для Бога, потому что в будние дни в храме никого нет, кроме него, а он все равно служит. Мне это трудно понять. Мое сознание не до такой степени вертикально устроено, а вот поп наверняка что-то чувствует – другого объяснения у меня нету. Надо быть очень стукнутым, чтобы бросить работу, квартиру в городе и переехать в горную деревушку вместе с женой и тремя капризными детьми в дом с привидением, да еще каждый день испытывать ее скрытое и явное недовольство и желание к чему-нибудь прицепиться.

Например, ко мне. Я это физически ощущаю и уверен, что матушка ругает мужа из-за меня, твердит, что у них будут неприятности, говорит, что у них дети и нельзя быть таким доверчивым и беспечным. На каком основании они должны мне доверять?

– С русскими надо быть осторожным. Может быть, этот бездельник – путинский шпион и пробрался сюда с заданием нас отравить? Отравили же в Англии отца с дочерью! – вопит Анна на весь дом, и я хорошо слышу ее торопливые нервные слова, которые мне даже не надо переводить. Славянские языки так устроены, что когда ты в общих чертах представляешь, что именно хочет сказать другой человек, ты его понимаешь.

Но Анне, кажется, на это наплевать. А может быть, она даже хочет, чтобы я все слышал.

– Знаешь ли ты, отче, что написали недавно на двери гостиницы в Острове?

– Что, любовь моя?

– Русские здесь не обслуживаются!

Но батюшка только улыбается ей в ответ. Он немножко блаженный, и ее это раздражает, однако конфликтовать с ним всерьез она опасается, видимо, у ее власти есть пределы, и она чувствует черту, которую нельзя переступить. Мы не говорим с отцом Иржи о моем будущем, я не знаю, как велико его милосердие и сколько продлится мое пребывание в этом доме. Я вручил ему свою судьбу вместе с новеньким заграничным паспортом и истекшей визой и в ответ занимаюсь тем, что подметаю и без того чистый храм и жду, пока вырастет газон, чтобы его постричь. Как работник Балда с той только разницей, что во мне нет балдовской расторопности, а в нем поповской жадности, и потому ничего, кроме крова и харчей, мне здесь не полагается. Все справедливо. Именно так, как я хотел в том смешном старинном кабачке, где у каждого постоянного посетителя есть личный стул с вырезанной физиономией на спинке. Так было заведено при прежних хозяевах, а потом после войны позабыто, но хитроумный эллин традицию возобновил, чтобы бороться с конкуренцией – кому не радостно посидеть на именном стуле, на котором, кроме тебя, никто сидеть не будет?

Я хожу иногда на другой конец деревни и разговариваю с греком. Он мне чем-то симпатичен. Мы с ним тут единственные иностранцы. Конечно, я гораздо в большей степени, чем он. Но все равно. Он как будто бы чех и не чех. Ребенком его привезли в эту страну, и он прожил здесь всю жизнь. Грек рассказывает поразительные вещи про то, как их вывозили из Греции. Там шла тогда гражданская война, и детям греческих коммунистов разрешили уехать. Ему было четыре с половиной года, его братику два. Их везли трое суток в закрытых машинах по балканским дорогам, почти не останавливаясь. Братик дороги не вынес. Умер. Мне это кажется странным. Они же должны были ехать – я мысленно представил – через соцстраны – Албанию, Югославию, Венгрию. Почему нельзя было задержаться, оказать детям помощь, накормить, позвать врача?

– Тито поссорился со Сталиным.

– А дети-то при чем?

Грек наливает пиво и протягивает мне кружку. Затем поразмыслив, кладет тарелку гуляша.

– Нас распределяли по разным странам. Мне еще повезло. В Венгрии греческих детей заставляли работать с утра до вечера на полях

подсолнечника как рабов. Но зато мы всегда держались вместе. И попробовали бы хоть одного обидеть – всей шоблой наваляли бы, – говорит он с угрозой и проводит руками по лицу, как будто умывая его.

– А ваши родители?

– Они приехали позднее, но я с ними не жил, – эллин поскучнел. – А в семьдесят четвертом вернулись в Грецию.

Запутанная история, как, впрочем, и с судетскими немцами. И сколько еще таких? Меня однажды занесло в Поронайск. Это городок на Сахалине на берегу залива Терпения, и там была одна женщина, кореянка, она работала в детской библиотеке и рассказывала, как их гнобили до войны японцы, а после советская власть, никуда не выпускали с острова, не давали гражданства, не разрешали ни учиться, ни работать, где хочешь, а она все равно сумела получить высшее образование и никакого зла на свою страну не держала. И очень переживала, когда та развалилась. Логики никакой. Но тетка мировая, и дети ее обожали. Рассказывала еще, как ее пригласили на открытие памятника сахалинским корейцам на горе Печали в Корсакове, где ее земляки собирались после сорок пятого года, всматривались в море и ждали, когда за ним придет корабль с Родины. А он так и не пришел...

– Я так плакала там, так плакала.

На сдержанную кореянку это было не очень похоже, но, видно, тут прорвало.

Грек же очень любознателен и, на мой взгляд, сверх меры политизирован. Не знаю, это национальное или личное, но он несколько раз спрашивал меня, за кого я голосовал на наших выборах в марте.

– Ни за кого.

– Но почему? Голосовать – это долг каждого гражданина, – его седые жесткие волосы и иглы усов сердито топорщатся: похоже сейчас в «Зеленой жабе» начнется урок по экспорту демократии.

– В тот день, когда проходили выборы, я находился в другой стране, – отвечаю я занудным голосом.

– Ну и что? – возражает Улисс. – Там разве не было вашего посольства?

– Было. Но туда никого не пускали.

– Такого не может быть, – качает он крупной породистой головой. – Никакое государство не имеет права ограничить доступ граждан другого государства в их посольство. А тем более в день выборов. Эта страна находится в Европе?

– Ну это как посмотреть.

О том, что творилось в день российских выборов в Киеве, я умалчиваю. Никаких дополнительных очков мне это не даст.

А грек между тем намекает мне на то, что все происходящее в моих интересах. Ведь чем хуже сейчас в России, тем больше у меня шансов получить политическое убежище. Как было во времена СССР. У вас же сейчас снова СССР. Так?

Господи, что он в этом понимает? И какое еще убежище? На каком основании мне его дадут? А Улисс расходится все больше, учит меня как жить и что говорить, он искренен и правда жаждет мне помочь. Но мне не хочется ничего не выдумывать. Я ищу покоя и хочу понять одно – где друг моего детства со Звездной улицы в садоводческом товариществе «Труд и отдых» близ Второго бисеровского участка?

Гегельянец в «Тайване»

Странно не только то, что он мне не звонит, не пишет и не отвечает на звонки и эсэмэски. Еще более непонятно, что ничего не пишут о нем. Обыкновенно в интернете новостей, связанных с Петром Павликом и его благотворительным фондом, тьма. Здесь он дал интервью, там что-то провел, выступил, тут проспонсировал, где-то еще профинансировал, открыл, учредил, поддержал, пожертвовал, наградил, поощрил, отобедал, вошел в попечительский совет, стал членом, многочленом, почетным председателем, был избран, переизбран, приглашен, введен, включен, согласован, утвержден. И вдруг – тишина. Я начинаю даже волноваться, хотя, в общем-то, волноваться особенно не из-за чего. Если бы что-то случилось, маленький Юра уже сообщил бы. Петя и раньше пропадал на целые месяцы и никто не знал, где он находится.

...Мы встретились с ним университете, в том здании, что называлось в просторечии стекляшкой и выходило торцом на проспект Вернадского. Я впервые увидел его после дачной истории и глазам своим не поверил – Петя, Петюня, мой купавинский друган, спаситель нашей планеты, поступил, как и я, в универ, пусть даже на другой факультет. Я – на филологический, а он – на философический. Вроде бы и там и там фил, но разница дьявольская! Они были такие серьезные, ученые кролики, кураевы, галковские, зятя междуевы, а мы веселые, бесшабашные с нашими девчонками, с нашей латынью и старославом. Сам Петя несильно изменился, разве что сделался еще более толстым и теперь вряд ли смог бы играть в жопки. Но когда я, радостный, подошел к нему на сачке, он не то чтобы меня не узнал, нет, он узнал, вежливо поздоровался, спросил что-то незначительное, но, в общем, было понятно, что я ему не интересен. Купавну он вспоминать не захотел, и не потому, что ему было неприятно, а просто он выкинул ее из головы как вещь лишнюю и обременительную.

Я спросил, верит ли он по-прежнему в то, что мир устроен одинаково от ничтожно малого до великого. Петя пожал плечами и сказал, что с вращением электронов все оказалось несколько сложнее, чем он предполагал, и речь идет скорее не о вращении элементарных частиц, но об облачной вероятности. Вообще он сделался еще более сосредоточенным, и со мной ему было говорить не о чем и незачем. Павлик с утра до утра занимался тем, что, как ежик, собирал знания, общался на равных с аспирантами и молодыми преподами, после лекций и семинаров отправлялся в фундаментальную библиотеку и если бы было можно, оставался б там ночевать. Он был, безусловно, лучшим студентом на своем курсе, а может быть, и на всем факультете. Это признавали все и за глаза звали его Кантом, хотя самого его эта кликуха страшно злила. Он был – насколько я могу судить в силу своих убогих представлений о царице наук – убежденный гегельянец и полагал, что идеи существуют не в сознании, а в реальности, и верил в неизбежность противоречий, из которых может развиваться нечто путное. Над ним посмеивались, однако никто ему не завидовал, никто с ним не соревновался, потому что это было бесполезно, а главное, глядя на этого бесполого, мешковатого юношу в очках с толстыми линзами и гладко зачесанными назад сальными волосами, открывавшими обширный выпуклый лоб, все сразу понимали, какую надо заплатить цену и что принести в жертву ради своего успеха. Его научное иноческое будущее было расчерчено и очевидно: синяя рожа, красный диплом, аспи-

рантура, защита кандидатской, работа на кафедре, докторская, и так до Академии наук.

Но вышло иначе. В середине третьего курса знайка вдруг задурил. Он перестал ходить в школу, выкинул за ненадобностью читательский билет и поклялся, что больше не притронется ни к одной книге. Основным местом его пребывания сделалась пивная «Тайвань», располагавшаяся справа от огромного здания китайского посольства. В те годы оно еще пустовало, а пивная была среди студентов университета весьма популярна, хотя пиво там отдавало содой. Но, с другой стороны, а где оно тогда было лучше? Само же китайское посольство отделял от пивнухи метровый заборчик, на котором народ в теплое время года любил сиживать, и милиция гоняла нарушителей государственной границы. Заведение было известно еще тем, что в семьдесят девятом, когда Китай напал на Вьетнам, под темными окнами посольства собирались студенты, швыряли снежки и чернильницы, и память об этом событии передавалась от поколения к поколению, обрастая немислимыми подробностями. Именно туда с самого утра к открытию отправлялся лучший философ курса. Очень скоро он сделался знаменит, получил прозвище Петр Тайваньский, к которому в отличие от Канта отнесся весьма благосклонно, с ним дружили парни с разных факультетов, одни его консультировали, других консультировал он, и по сути Павлик мой превратился в некий параллельный по отношению к университету центр. Как объяснял он мне сам позднее, на одиннадцатом этаже ему в какой-то момент просто стало скучно, а на двенадцатый его не пропустили из-за избыточного веса. В истории, философии, гносеологии, логике, религии и атеизме, в этике и эстетике он все для себя уже понял и захотел узнать иное. «Тайвань» был идеальным для этого местом. Общаясь с самым разным народом – а кого там только не было – умников, дураков, диссидентов, мистиков, эзотериков, стукачей, книжников, бездельников и поэтов, – Петя без книг практически освоил программу всех факультетов и сам сделался университетом. Я, возможно, утрирую и сам бы он с этим никогда не согласился, но правда это был очень и очень умный мальчик с замечательным мочевым пузырем: никто не мог выпить столько пива и так долго обходиться без туалета. Павлик переставал всех. А одним из его собеседников, батюшка, был, представьте себе, большой Юра, который оканчивал о ту пору аспирантуру физфака и забегал в «Тайвань» выпить кружку пива по дороге домой. Задерживался он в заведении обыкновенно ненадолго, поскольку вечно был занят, писал мудреные статьи, ездил на научные конференции, а еще, как потом выяснилось, распространял запрещенные книги. Звездочет был со всеми одинаково приветлив, но близко никого до себя не допускал, и Петька оказался единственным, кто по-настоящему сумел занять его внимание. Было ли это как-то связано с Купавной и с той ночью, когда по просьбе Светки Юра открыл перед маленьким беглецом ночное небо, утверждать не возьмусь, но частенько двое бывших купавинских дачников вместе выходили из китайской пивнухи. Не договоривши своих разговоров, они шли на Воробьевы горы и дальше кружным путем мимо цековского гетто спускались к реке, переходили по железнодорожному мосту и топали в сторону Юриного номенклатурного дома, плавной дугой изогнувшегося на левом берегу Москвы-реки наискосок от Киевского вокзала. Я знал об этом, потому что ходил в университетский турклуб и наш добрый тренер Валерий Павлович Конюшко устраивал нам по этому маршруту вечерние пробежки.

Увлеченные беседой двое мыслителей меня не замечали, а я обгонял их с печалью и ревностью – мне бы очень хотелось, чтобы они меня вспомнили и взяли к себе.

А потом Юра исчез. Петька грустил по своему старшему товарищу, пытался его разыскать, однако все было безуспешно. Астроном как в воду канул. Слухи ходили самые разные, а несколько времени спустя Петю Павлика вызвали в Главное здание университета на девятый этаж. Там веселый голубоглазый дядечка, числившийся проректором по общей безопасности, доверительно рассказал ему, что аспиранта давно хотели засудить за любовь к самиздату, но вмешался его отец и от греха подальше отправил парня в армию.

– А следующим тебя заберут, – захохотал проректор.

– У меня белый билет, – возразил философ уныло.

– Все равно заберут. Только уже не в армию.

Слово аспирантки

На факультете Павлика по-прежнему жалели и не отчисляли, вызывали на деканат, увещевали, продлевали сессию и надеялись, что он образумится и вернется, но все было тщетно – Петя так и не одумался. Тем не менее его скорее всего дотянули бы до диплома, если бы не помешанная на Фейербахе преподавательница с кафедры марксистско-ленинской философии, которая читала диамат и нам. Она отказалась ставить гегельянцу на экзамене тройку, притом что он ей все ответил и про материализм, и про эмпириокритицизм. В сущности, это была уже агония этих дурацких предметов, никто не требовал присягать на верность партии и правительству, нужно было только знать и излагать материал, можно даже было спорить с чем-то, не соглашаться, критиковать культ личности и ночные декреты советской власти, даже отстаивать первенство духа над материей и ставить в центр мировой разум – все это приветствовалось и считалось знаком обновления, ускорения, гласности и перестройки, но Петюню было решено примерно наказать. Некоторая справедливость в этом присутствовала – именно в Петре Павлике увидела угрозу своей драгоценной науке и причину всех государственных бед похожая на цыпленка Божья старушка Чаева, которая в годы войны вылавливала на освобожденных территориях девушек, спавших с немцами. Петя в ее догматических глазах был явлением родственным – изменником, шатуном, шалуном и пятой колонной.

– Компромиссы допустимы в малой степени в экономике, – критически оценила Чаева процесс перестройки и непроизвольно затрясла маленькой, изящной, как у кобры, головой. – Но в идеологической борьбе им места нет. Как ветеран партии я намерена писать письмо в ЦК.

Увы, только что вернувшийся в Москву после переговоров с баронессой Тэтчер глупый мышонок Горби ее восьмистраничному посланию с цитатами из Ленина и предостережениями против оппортунизма и ревизионизма не внял. А сына доктора Павлика таки отчислили в восемьдесят восьмом году как последнего эмгэушного диссидента и антисоветчика одновременно с публикацией «Доктора Живаго» в «Новом мире». Однако в «Тайвань» он все равно продолжал ходить, ничего дурного про свой факультет не говорил, и три года спустя, когда идеологическая борьба была кафедрой научного коммунизма всухую проиграна, внезапно разбогатевший гегельянец стал давать альма-ма-

тер деньги на ремонт, книги и именные стипендии для студентов. Кроме того, Петя назначил пожизненное содержание обнищавшей после закрытия ее кафедры Чаевой, в чем некоторые углядели изысканную месть, хотя мой купавинский товарищ был просто добр душою и помогал всем, невзирая на их взгляды.

О «тайваньском» периоде в его жизни я больше ничего не знал, потому что в сторону китайского посольства чаще ходили студенты с естественных факультетов, а гуманитарии предпочитали пивной бар с автопоилками на улице Строителей за метро «Университет». Но была одна девушка, аспирантка с кафедры общего языкознания Валечка Макарова, высокая, тонкая, очень чувственная, стерва порядочная, которая однажды сказала, что отдастся тому, кто сводит ее на Таганку на «Мастера и Маргариту». Сказала в присутствии нескольких человек, один из которых мне был крайне неприятен. Плюнуть на нее надо было, но у Валечки был такой завиток волос возле уха, что я не мог с собой ничего поделаться.

И тогда я поехал на Таганку. Но это было бесполезно. Какие билеты? Там занимали очередь за несколько суток и чужих не пускали. А уж на «Мастера»... Кого я мог разжалобить – Любимова? Смехова? Дупака? (Это директор театра, если кто не знает.)

Но именно там, в ночных очередях, которые держали ребята из Физтеха и МИФИ, я узнал про уникального чувака с чудной фамилией, который, если ты ему приглянешься, может сделать билеты на любой спектакль, а искать его надо в университетской пивной на улице Дружбы.

...Больше всего меня поразило, как Павлик был одет. Вместо мешковатых штанов и ботинок «прощай молодость» он носил хорошие джинсы, американские армейские сапоги, пуловер и очки в дорогой оправе. Голову он теперь стриг наголо, отчего выглядел довольно зловеще и даже богатый прикид не скрадывал его внешнего уродства, но зато придавал бывшему философу жутковатый шарм. В этот раз он был со мной гораздо любезнее. Сказал, что билеты достать, конечно, может и сделает это для меня по дружбе по минимальной цене, но не лучше ли послать такую девушку куда подальше? Я с ним мысленно согласился, однако в театр мы все равно сходили, и хотя спектакль Валечке не понравился, слово свое аспирантка сдержала. А мы с Петюней потом хорошо постояли в «Тайване». Постояли, потому что сидячих мест там не было. Видимо, для того чтобы народ не задерживался, хотя кружек все равно не хватало, и у Пети имелась своя фирменная банка из-под консервированной айвы. Единственное, что было неудобно – в помещении не разрешали курить, и периодически возникали менты, которые штрафовали тех, кто им попадался, но – ни разу Петю. Они как будто не замечали этого большого центрального человека с резкими складками на голой голове. Зато время от времени к нему подходили мелкие целевые люди и о чем-то негромко договаривались. До меня доносился шелест манящих слов и наименований, среди которых билеты в театр были не самым главным призом, но еще больше меня поразило, что Павлик ничего не записывал, а все запоминал и, как когда-то названия созвездий, держал в своей лобастой кочерыжке всевозможные марки джинсов, батников, водолазок, запасные колеса, австрийские сапоги, мебельные стенки, кассетные магнитофоны, банки с красной и черной икрой и еще черт знает что в рублевом эквиваленте конца эпохи развитого социализма.

Диспетчер мой в тот день был в лирическом расположении духа и рассказал о том, что занялся фарцой не от хорошей жизни. Светка вышла

замуж, муж ее зарабатывал немного, и помогать сыну она не могла. Да он и не просил ничего. Сам ей деньги давал. Ей и своему херсонскому папаше. Злые языки говорили, что Павлик был связан с ОБХСС, с ментами и даже с гэбухой, которая взяла его под покровительство после встречи с дружелюбным проректором в главном здании. Не знаю. Я ничего в торговых операциях не понимал, но помню, как тогда меня это все резануло, и я почувствовал себя разочарованным и обманутым. Не из-за порочных связей. Нет. А просто Петя, этот светоч Петя Павлик, который смотрел на звезды в телескоп большого Юры и сделался его другом, виртуозно играл в жопки, спасал землю от инопланетян, раскрыл механизм устройства Вселенной и пел гимны Периодической таблице Менделеева, – этот интеллектuala, интеллигент, любомудр, объективный идеалист, краса и гордость Московского университета стал спекулянтom, жуликом, фарцовщиком пусть даже ради ближних. Мне казалось тогда, что мы живем в такое время, когда стыдно думать про деньги, стыдно копить, ты же потом жалеть об этом будешь, Пьерушка. Страну надо возрождать. Я напился и обличил его с ног до головы. Он выслушал меня очень внимательно и заплатил за пиво.

Разбор полета

Сегодня хозяин дал мне выходной, и я брожу весь день по окрестным горам. Я нахожусь здесь уже почти две недели, денег у меня по-прежнему нет, документы окончательно просрочены, и с каждым днем мое положение усугубляется, но я стараюсь об этом не думать. Кто знает, может быть, потом я буду вспоминать это время с благодарностью? А может быть, никакого потом не будет, но я правда боюсь священника, мне кажется, он умеет читать мысли, ну, или по крайней мере с интуицией у него в отличие от меня все в порядке. Он совершенно точно знает обо мне и моей жизни гораздо больше, чем я рассказываю, а может быть, даже больше, чем знаю о ней я сам. Наверное, это профессионально-профессиональное. И все-таки вряд ли его способности действуют на расстоянии. Сейчас, когда я далеко от его дома, то позволяю себе думать о своем.

Внизу видна деревня, церковь, железнодорожная станция и сама железная дорога, которая огибает холмы, вьется, и видно, как неспешно идет по ней старенький поезд, состоящий из нескольких вагончиков. Именно что идет, а не едет, словно нащупывает себе путь и боится свалиться с кручи. Потом останавливается на станции Горни Липова, она самая ближняя к нам, высаживает и принимает горстку пассажиров и движется дальше в сторону Остружны. С высоты поезд похож на игрушечный, и я вспоминаю, как папа подарил мне на день рождения железную дорогу. Очень простую, небольшой круг, по которому носился заводной паровозик, а у маленького Юры была немецкая, электрическая, с разными поездами, станциями и стрелками, и я ему завидовал, идиот.

Я ухожу все дальше, следуя указателям, которые обещают привести меня к горной хижине, и там можно будет сделать пикник. Мне нравятся эти лесные дорожки со стрелками, сколько километров отсюда до лечебницы, до города, до мельницы, до заброшенной шахты и до вершины горы. Иногда по пути попадаются непонятные сооружения, похожие на заброшенные военные объекты – бункеры, дзоты, окопы, и я вспоминаю, как в военных лагерях под Ковровом мы проходили об-

катку танками. Это оказалось совсем не страшно и напоминало наши дачные игры в войнушку. Гораздо страшнее сейчас, когда я ложусь у края обрыва и смотрю вниз. К избушке поднимаюсь обессиленный к четырем часам, хотя собирался быть тут не позже половины второго, доползаю до порога и долго не могу пошевелиться и отдышаться.

В хатке прибрано, чисто, достаю пиво, бутерброды, в запасе у меня бутылка местной водки сливовицы – ее подарил Одиссей. Очень хочется разжечь костер, но делать этого нельзя, и мне становится грустно, потому что костры – моя любимая забава с детства, и везде, куда бы я ни приезжал, я всегда старался развести огонь. А тут это невозможно. Конечно, наши помойки посреди леса не лучшая альтернатива и можно представить, как выглядел бы такой домик в России, но почему нельзя, чтобы была и чистота, и костры в лесу?

Сижу на деревянной лавке, смотрю на ветряки вдали и пью пиво, как когда-то в «Тайване», который давно закрыли. Рассказывали, что туда любил ходить старший внук Брежнева Леонид. Он учился на химфаке, и однажды компанию молодых людей, отмечавших медиану, загребли в ментовку. Внук был не очень похож на деда, и когда назвал свою фамилию, а затем еще и имя, парня отметили с особой тщательностью и усердием. Потом, правда, так же тщательно извинялись, но злачное место все равно решили упразднить, чтоб не было соблазна. Я не поленился, проверил этот рассказ в интернете, и получилась нестыковка, ибо внук Брежнева учился в универе гораздо раньше, чем закрыли пивную, и тем не менее история мне понравилась. Говорят, Павлик очень переживал за «Тайвань» и пытался его выкупить, но в ту пору его возможности не были такими обширными, а главное, изменились отношения с Китаем, посольство ожило, наполнилось людьми, чернила со стен и окон были смыты и о конфликте семьдесят девятого года старались не вспоминать. Пивнуха же с ее вызывающим народным названием была могущественному соседу как бельмо в глазу, и от нее избавились. А жаль, правда. Мне вообще много чего жаль из той жизни, и чем дальше мы от нее уходим, тем больше я о ней жалею. При этом я абсолютно не согласен с теми, кто расхваливает совок – дурацкое слово, сам его не люблю, но еще меньше понимаю мечтающих туда вернуться, однако сегодня у меня сентиментальное настроение, и я хочу сделать то, что запрещал себе все эти дни – вспомнить Катю.

Петя, когда отправлял меня в Киев, надеялся, что у нас с ней может что-то опять сложиться, ибо сейчас – провозглашал он – настало время, когда люди должны друг друга прощать и находить спасение в прошлом, бросать якорьки и попытаться остановить идущий вразнос корабль.

– Мы все ошиблись, сбились с дороги и пошли в несчастную сторону. Надо просто вернуться на несколько десятков лет назад, – говорил он вдохновенно, и у меня от его вдохновения начинал дергаться левый глаз, но, с другой стороны, это тоже была причина, по которой он не бросал все эти годы меня, а потом еще разыскал Юрку и взял его на работу. По той же причине я должен был согласно его плану встретиться с Катериной.

– Ты в этом уверен? – лишний вопрос и интонация безнадежности в моем голосе мне самому была жалка и смешна.

– Шура, – отвечал он.

– А ты не посмотрел в интернете, как она изменилась с тех пор?

– Ну, милый, ты тоже не стал краше, пусть даже тебя по интернету не показывают.

Если он хотел меня при этом поддеть, то напрасно – у меня уйма недостатков, но ни тщеславие, ни честолюбие к ним никогда не относились. Я просто всегда хотел, чтоб на меня как можно меньше обращали внимание и трогали. И, в общем-то, мне это удавалось.

– А если она откажется?

– Она согласится, Слава.

Самолет мягко потряхивало. Кроме нас двоих и экипажа, в нем никого не было. Изнутри он был обит дорогим деревом и походил на яхту, и, возможно, поэтому ощущение у меня было такое, будто мы не летим, а плывем.

– Ей же любопытно посмотреть на своего первого мужчину.

Я совсем не был в этом шура, то есть уверен (в том, что ей любопытно), а Петино замечание показалось мне в высшей степени бестактным, равно как и в общем упоминание Кати, но мои отношения с этим человеком складывались таким образом, что я от него зависел, а не он от меня. Иначе я ни за что не полетел бы с ним на Ямал, даже с учетом того обеда, который нам подали приветливая стюардесса, ибо в последние годы у меня развилась аэрофобия. Хотя, конечно, я не мог не признать того, что по сравнению с обычным пассажирским самолетом, где ты сидишь зажатый между креслами и мучительно делишь с соседом подлокотник, а тошнотворную еду тебе приносят как скотине в стойло, маленький воздушный корабль с ресторанным меню и потрясающей винной картой, вылетевший безо всяких очередей из пустынного третьего Внукова, казался венцом человеческого успеха.

Петя с трудом встал и неуверенно прошелся по салону. Большой, неуклюжий, с одышкой и зашкаливающим уровнем сахара в крови – неужели врачи ничего не могут сделать или сам не хочет? Ведь нынче все помешаны на здоровье, а этот пьет, ест за троих, сладкое, мучное, хотя ему наверняка все это запрещено. А у него еще сердце больное, и я вспомнил Светку, которая орала на нас посреди поля в Купавне. Наверное, хорошо, когда сын у тебя олигарх – выгодная получилась материнская инвестиция. А вот моей матушке не очень-то со мной повезло...

– Они в глубине души очень хотят этого разговора. Они ждут его и только делают вид, что мы больше не братья и навсегда разошлись, а на самом деле погляди, как они за нами наблюдают, как реагируют на все, что у нас происходит.

– Угу, – буркнул я. – Ты читаешь хотя бы иногда их сети?

– Да, они реагируют не так, как бы нам хотелось, – проговорил Павлик, помедлив. – Но если мы действительно старшие, то это мы виноваты в том, что произошло. Это мы недоглядели, не так себя повели, где-то ошиблись, и, значит, мы должны ошибку исправить.

Я снова вспомнил рыхлого, плаксивого мальчонку, с которым мы играли у ворот в садоводческом товариществе «Труд и отдых» и заставляли его таскать воду на прокурорское поле. Кто бы сказал мне тогда, что через много лет он будет проводить со мной в собственном самолете политинформацию об отколовшейся Украине и толковать о нашей общей судьбе, вине и ответственности, мыкая и трясясь своими полтора сотнями килограммами так непреклонно, что мне оставалось лишь сидеть и молча слушать его, попивая в качестве дижестива односолодовый вискарь «Writers tears», и глядеть за окошко, где ровно светило солнце и тянулись, сколько было видно глазу, плотные облака.

– Я думаю, я чувствую, что они во многом сами жалеют о том, что произошло, и если можно было бы отыграть назад, давно бы уже отыг-

рали, но гордость меньшего народа мешает им это признать. Они ждут от нас извинения, раскаяния, хотя бы показного, и в этой ситуации мы должны поступить великодушно и сделать первый шаг навстречу.

– Вернуть им Крым?

Самолет задрожал. Лети мы обычным рейсом, раздалась бы команда – дамы и господа, наш самолет находится в зоне турбулентности, просим вас вернуться на свои места, привести спинки кресел в вертикальное положение, пристегнуть ремни безопасности, поднять откидные столики, открыть шторки иллюминаторов и все такое. А тут никто ничего не говорил, и я не совсем понимал, что делать. Стаканы на столе запрыгали, виски полетели на пол, стюардесса непрофессионально побледнела, и я вслед за ней.

– Немедленно всем пристегнуть ремни! – рявкнули в кабине.

Видимо, дела были неважны, коль скоро пилоты арендованного самолета позволили себе такой тон в отношении клиентов. Если мы все-таки сейчас где-нибудь навернемся, то завтра все газеты выйдут с сообщением о том, что известный предприниматель, общественный деятель, филантроп и просветитель Петр Павлик погиб в авиакатастрофе, а обо мне не напишет никто.

Борт снижался, и его продолжало трепать, как байду на волнах на озере Воже, когда там задувает северный ветер или тебя атакуют аборигены на казанках. Вот уж точно воздушное судно. Бутылку с писательскими слезами гоняло по полу, и я думал, как бы ее ухватить и еще раз приложиться. Может быть, последний раз в жизни. Из кабины выполз на карачках никакой пилот и что-то сказал Пете на ухо. Тот помотал головой. Я не слышал их разговора, но догадался, что речь шла о запасном аэродроме в Когалыме. Эх, командир, командир – если сам боишься принять единственное правильное решение и не хочешь потерять работу, спроси лучше меня. В конце концов, я тоже имею право голоса, и этот зовет меня в Когалым. А ты, Петя, вспомни про Леха Качиньского, генерала Лебеда и губернатора Фархутдинова. Достойные все люди, но зачем тебе оказаться в этом ряду? Какой бес тебя попутал! Ты же всегда все правильно делал. Подумай, сколько стоит твоя жизнь, и не забудь, что тебе некому передавать капиталы, если не считать избалованных тобой же жадных сводных братьев, которые спустят все за год.

Самолет прорвался сквозь облака, под нами показалась река, лес, и даже с высоты было видно, как гнет ветер деревья. Борт швыряло из стороны в сторону, уже не как лодку на волнах, а как пьяницу в коридоре общежития Литинститута. Садились боком. Я вцепился в кресло, но Петя даже не дрогнул. «Вот нервы». Борт завис над летным полем, словно вертушка, коснулся полосы, подпрыгнул, перекосясь так, что едва не задел крылом землю, стюардесса закричала, страшно загремела посуда, открылся шкаф, из которого что-то посыпалось, писательские слезы потекли ручьем по полу, а корабль оторвался от земли, вдавив нас в кресла, и снова взмыл в бушующий воздушный океан. Сделал круг над аэропортом и сел как на тренажере. Ровно, четко, уверенно.

К стюардессе вернулся румянец. Она выглядела так, будто ничего не произошло, только страх быть уволенной прятался в глубине ее потемневших глаз. Пилоты профессионально протянули нам руки на прощание. Петя сухо их пожал, я видел, что он недоволен. Не экипажем – мной.

– Не надо переносить личные отношения на всю страну, – буркнул он, глядя куда-то в сторону.

Ночной концерт

Не знаю, как я тогда стерпел. Но даже если бы, не сдержав обиды, я что-то язвительное про его собственные компетенции в самой пленительной области жизни сказал, моя насмешка не достигла бы цели. Мы никогда не говорили с Павликом на эти темы, я не знаю, было ли его печальное свойство связано с пресловутой свинкой или с чем-то еще, но, часто думая о своем друге, я представлял себе византийских военачальников, которые добровольно отсекали все лишнее, что мешало им целиком отдаться войне. И это были не какие-то там евнухи, не извращенцы – это были воины, полководцы, герои, которые хорошо знали, что Марс и Венера не могут ужиться в одном человеке. Петя не был человеком Марса, но у него было особенное отношение к миру. Он был свободен от того, чем были поработаны остальные, и всегда хотел в жизни нового. Теперь этим новым для него стала соседняя территория, в которой он понимал еще меньше, чем я, но отчего-то решил, что сможет потушить братский огонь так же, как когда-то гасил подземное пламя на прокурорском поле в Купавне. Благородно, но бессмысленно. Или на него произвела такое сильное впечатление моя обличительная пьяная речь в «Тайване» в восемьдесят каком не помню уже году?

Я глядел на Павлика, и у меня на языке вертелся вопрос: почему ты не уезжаешь? Ты мог бы жить со своими капиталами в хорошей стране, где уважают законы и к людям не относятся как к скоту, а не в той, где тебя едва не убили рэкетеры, а потом они же, став госслужащими, заставили отдать половину активов. Ты мог бы купить дворец, остров, жить на яхте, в нью-йоркском пентхаузе с видом на Центральный парк, лондонском особняке, в Венеции, на Таити, но ты остался в России и сокрушаешься из-за того, что ни один народ в Европе не пострадал и не потерял в последние полвека столько, сколько славяне, ты твердишь про Родину, ее судьбу, ее путь, исторический жребий и славянские ручьи, которые все равно сольются в русском море, – что-то очень жалкое, детское, ты раздаешь направо и налево деньги, поддерживаешь никому не нужные фильмы, выставки, спектакли и книги, жертвуешь сотни тысяч проходимцам и темным людям, которые с утра до ночи толпятся в твоей прихожей, осаждают тебя звонками, письмами, прошениями, и стараешься всем помочь. Но зачем?

О, если бы я был на Петинем месте! Даже не так, если бы мне достались крохи того, чем по праву владел Петр Тарасович, или он вдруг решил бы за что-то наградить и меня, я бы плюнул на всех славян с их идиотскими распрями, купил бы домик на берегу финского озера и жил бы там круглый год, наблюдая за тем, как белые ночи сменяются короткими зимними рассветами, плавал бы на байдарке, ходил на лыжах, ловил рыбу, и больше ничего мне в жизни не было бы нужно. Я даже приглядел такой домик на одном хорошем озере в районе поселка со смешным названием Сюсьма, и вечером, когда мы сидели в бутафорском ненецком чуме и закусывали водку строганиной, изложил Педре свою мечту, сказав, что мне не хватает каких-то двухсот тысяч евро и финского гражданства. Петя удивился сначала, почему я хочу дом именно в Финляндии, а не в Карелии, или, наоборот, в Канаде либо в Новой Зеландии, где есть все то же, но гораздо интереснее и ярче. Я объяснил ему, что те страны находятся слишком далеко и к тому же над океаном особенно сильные зоны турбулентности, а в Карелии нет того покоя и безопасности, которые необходимы моему ослабевшему организму.

– Хорошо, – сказал он, не отрываясь от планшета. – Только с Финляндией у меня не получится. Проще будет с чехами.

– Почему с чехами?

– Им нравится моя фамилия, – ответил Петя уклончиво.

– Но я хочу на север.

– Поработаешь в Оломоуце, через несколько лет тебе дадут европейские документы, и езжай куда захочешь.

– И что я буду за это должен?

– Ничего. Только сделай как я прошу.

– Это условие?

– Это просьба, – и Павлик улыбнулся детской, купавинской улыбкой. – И скажи, пожалуйста, Катерине, чтобы она остерегалась бучи.

– Какой еще бучи?

– Ты скажи. Она поймет.

...Надо было брать больше пива. И сливовицы, кстати, тоже. Она, конечно, уступает нашей водке, но и за эту, Одиссей, спасибо. Я иду вниз и пою песни. Пою отвратительно, у меня ни слуха, ни голоса, но при этом петь я люблю. На всех известных мне языках. Вниз идти еще тяжелее, чем вверх, а пьяному поскользнуться на этих склонах ничего не стоит. Я, кажется, и падаю, потом старательно ползу, цепляясь за корни деревьев, снова падаю и снова ползу, и когда выбираюсь на тропинку, грязи на мне как на танке.

Хорошо, что в горах никого нет. Сезон начнется позднее, а пока тропинки пустые, редко-редко встретишь одинокого человека, поздороваться, улыбнешься в ответ и топаешь дальше. Мне нравится одиночество в горах. На равнине оно утомительно, скучно, но горы тревожат мое сердце. В горах я, вероятно, чувствую то же, что чувствует отец Иржи в храме. Вертикаль.

На горной дороге показывается автомобиль. Он не едет – стоит, но, как мне спяну кажется, раскачиваясь на рессорах, точно и он слегка принял. Подхожу ближе. Машина полицейская, а качка в ней лишь усиливается. Мне как лицу бесправному да нетрезвому унести бы от нее ноги подальше, но не идти же обратно вверх по кручам, с которых я еле слез, проскочу как-нибудь. Интересно, однако, как эта тачка сюда забралась и кто ее бросил? Или тут проходит спецоперация? Облава? Снимают кино? В голове у начинаются крутиться разные сюжеты. Вспоминаю, как читал перед отъездом из России книжку про девушку, которая ушла гулять в горы и не вернулась. Ее нашли через месяц на берегу горного ручья, и она была абсолютно голой. Это случилось сто лет назад в Австрийских Альпах, и до сих пор никто так и не раскрыл тайну ее смерти. Даже автор той книги. Вот и с этой машиной тоже может быть связана тайна, но черт возьми! Лишь когда я оказываюсь совсем рядом с автомобилем, понимаю, как опрометчиво поступил.

Не голая, но полураздетая девушка на заднем сиденье встречается с моими глазами, вскрикивает, вслед за ней поднимается бритая голова бородатого парня в расстегнутом мундире, а я, проклиная себя за тупость, шагаю прочь. Блин, как неудобно получилось! Я бы мог бы и подогадливей. Однако сюжет приобретает все более отчетливые очертания. Полицейский заманил девчонку в лес. Или вынудил ее сюда поехать? В России таких случаев сколько угодно, неужели здесь тоже? А впрочем, судя по довольным разбойничьим раскосым глазам, девчонка не сильно возражала, а может, сама этого красавчика сюда завела...

Эх, где моя юность, где моя свежесть? Вопрос не в том, что они прошли. А в том, сколько таких девчонок я упустил! А они упустили меня. Но, кажется, именно тогда, размечтавшись и рассожалевшись о несбывшемся, я сбился с тропы. Станут ли меня в поповском доме искать, а может быть, вздохнут облегченно – ну ушел и ушел. Появился неизвестно откуда и зачем и так же исчез. Или найдут тело эти двое на полицейском авто, когда в очередной раз поедут подальше от чужих глаз?

Я иду не понимая, где нахожусь, вроде бы горы и горы, смеркается, половина восьмого, восемь, а я все шагаю и не ведаю, в какой стране нахожусь, в какой эпохе, сколько границ успел пересечь и к какому морю выйду, по дороге опять попадаются бетонные глыбы, заросшие кустарником и травой, и похоже, в каком-то из этих бункеров мне придется заночевать. Но тут над горами зажигаются звезды, потом поднимается луна, ее еще не видно, только ощущается, что скоро она покажется из-за склона и вся местность преобразится. И вот лунный свет лавиной сходит на долины и перевалы, я плыву по освещенной дороге, смотрю на свою долгую, размытую тень и без двадцати десять оказываюсь в Горной Липове, только с другого конца. Эх, даже заблудиться не сумел. Бреду через деревню, где ко мне уже привыкли, еще не настолько, чтобы со мною здороваться не как с чужестранцем, но все же потихоньку я становлюсь частью этого пейзажа.

Никуда не тороплюсь, долго стою на мостике, который переброшен через ручей. Дом отца Иржи с другой стороны. Все уже давно спят, и только наверху, в пустынной колокольне, горит свет. Отец Иржи, судя по всему, там. Дверь открыта, мне хочется подняться по таинственной лестнице, но делать этого нельзя, и я просто стою и жду, прикладываясь к пузатой бутылочке, покуда она не кончается. Тридцать пять минут, сорок две, сорок девять. Внутренние часы работают бесперебойно независимо от состояния души и градуса тела. Роскошная сладострастная луна висит над головой и не стесняясь показывает всю себя. Перекликаются ночные птицы, хищно кружатся в лунном свете бабочки и мотыльки, за ними охотятся, выбрасываясь из ручья, форельки, и всеми этими действиями дирижирует кто-то незримый, как если бы природа давала концерт своему единственному пьяному зрителю. Наконец священник спускается, запирает дверь, и лицо у него такое задумчивое, прекрасное, одухотворенное, точно он и был тем дирижером, и мне хочется в ответ рассказать ему про свою возлюбленную. Именно сейчас. Я чувствую, знаю, что время пришло.

Выступаю из темноты, громко икая. Иржи вздрагивает и смотрит на меня рассеянно, без осуждения, но в то же время и без одобрения. Похоже, ему не нравится, что я немножко выпил, но трезвый я бы не посмел своей истории коснуться. Не знаю точно, с чего начать, потому что я познакомился с Катей дважды. Или, вернее, так: увидел ее через несколько лет после того, как мы с ней впервые проговорили полночи на берегу моря. Поэтому первый раз был вторым, а второй – первым. Ис этого второго первого раза я и начинаю. Получается не совсем вразумительно, да плюс еще непрекращающаяся икота нарушает плавность и красоту моего повествования, и у меня складывается впечатление, что иерей слушает меня не просто невнимательно, а даже не пытается вникнуть в суть. Мысленно он все еще там, на колокольне со своей дирижерской палочкой, хотя мы уже зашли в дом. Я начинаю сердиться и прошу его дать мне водки и выпить вместе со мной. Не хочу, чтобы он слушал на трезвую голову.

– Это не исповедь, не дурацкие грешки, в которых каются ваши старушки, – кричу я ему в лицо. – Это – роман, самый сокровенный мой роман, и с вашей стороны невежливо мне отказывать.

Однако моя просьба еще больше огорчает его, и он мягко, конфузливо, но очень настойчиво предлагает мне больше сегодня не пить, а пойти отдохнуть и поговорить завтра. Но я не собираюсь ложиться, я хочу, чтобы настала ночь воспоминаний, я знаю, что это должно произойти именно сегодня, машу руками и, кажется, задеваю что-то в комнате. Оно падает, разбивается, на шум выбегает матушка Анна в плюшевом розовом халате с мишками, и у меня нет слов, чтобы передать выражение ее лица при взгляде на осколки стекла на полу, лужу и мой походный костюм, но Иржи запрещает ей говорить хоть слово. По таким мелочам и становится понятно, кто в доме хозяин.

– Зитра, всечно буде зитра, – говорит он, подталкивая меня к двери.

Но меня уже не остановить, я не хочу никакого зитра, я хочу сейчас и кричу на плюшевую матушку, обвиняю ее в лицемерии, фарисействе и прочих смертных грехах, а батюшку в том, что он только изображает участие, а на самом деле равнодушен к людям, как печная кладка бездействующего камина в доме, который, икаю я яростно:

– Вам не принадлежит!

Матушка даже не бледнеет, но белеет от гнева, а поп кивает в такт моим возмутительным речам и ведет меня на второй этаж в мою комнату. Подсохшая грязь комьями падает на лестницу. Бросаю в угол одежду и быстро засыпаю, но в третьем часу ночи просыпаюсь оттого, что наверху кто-то топает. Икота не прошла, голова раскалывается, страшно хочется пить, но я понимаю, что если спущусь на первый этаж, то разбужу хозяев. Вчерашняя наглость сменяется приступом раскаяния таким сильным, что я готов уйти, не попрощавшись. Я боюсь даже вспоминать, что именно вчера наговорил и какими глазами буду утром смотреть на отца Иржи, а про матушку не смею и думать. Мне не спится, я продираюсь сквозь лобовую боль и размышляю про немецкого судью, который продолжает мерить шагами чердак над моей головой. Каково ему знать, что в захваченном чехами его родовом гнезде буянит пьяный русский? В окошко виден ярко освещенный луной склон горы и тени высоких деревьев. Тоскливо кричит ночная птица. Земля несется сквозь вселенский холод и слегка дрожит от легкой космической турбулентности. Мне сорок девять лет, я живу в чужом углу, а своего у меня нету и, скорее всего, уже не будет. Мне становится ужасно грустно, так грустно, так жалко себя, что хочется плакать, хочется, чтобы меня кто-нибудь пожалел. Учительница мама с ее верными учениками, покойница бабушка, отец или, может быть, Катя...

Памяти «Памяти»

Она стояла на винтовой лестнице, которая вела с сачка на второй этаж к конференц-залу в первом гуме. По этой лестнице ходили не так часто, потому что зал обыкновенно пустовал, но в тот день он был открыт и народу было много по случаю вручения дипломов. Мы занимались тем, что невнимательно слушали недавно назначенного молодого декана, слонялись по просторному коридору, фотографировались, прикладывались по очереди к бутылке теплого шипучего вина и изображали радость, хотя никакой особенной радости не было. Ну окончили

и окончили. Распределение год назад отменили, и если раньше каждый боялся, что его засунут в школу, то теперь куда идти работать и как жить дальше, никто не знал. Когда я поступал, нас отбирали для важной государственной деятельности – преподавать советскую литературу иностранцам, готовили к сложным заграничным командировкам, к идеологической борьбе и пропаганде социалистического образа жизни.

– Преподаватель советской литературы как зарубежной, входя в аудиторию, занимает огневой рубеж идеологической борьбы с врагами и полудрузьями, – это была первая фраза, которую я услышал на своей кафедре, однако потом на наших глазах все начало рушиться, и за несколько лет врагам и полудрузьям сдали все, что было можно и что нельзя.

Сейчас многие у нас это время ругают, а я рад, отец Иржи, что оно совпало с моей молодостью. Помню, как все менялось на глазах, перестройка, гласность, Абуладзе, дети Арбата, белые одежды, факультет ненужных вещей, пусть Горбачев предьявит доказательства в «Московских новостях» и публичная лекция академика Афанасьева про Сталина на улице Двадцать пятого октября, куда было невозможно попасть, и народ стоял на улице и сквозь открытые окна ловил обрывки фраз. Это было время невероятной жажды правды, под видом которой нас так опоили новой ложью, что до сих пор не можем прийти в себя. Но ведь та жажда, честный отчет, не на пустом месте возникла! Вам она ничего не скажет, у вас была своя нежная революция, и все закончилось миром, вы вон даже со словаками разошлись так, что никто не пострадал, а мы умылись кровью и продолжаем ее лить. Погодите, я скоро дойду и до своей коханой Катерины, но мой роман требует болтовни. Так вот, я был счастлив, что все старое рушится. И каждый месяц, неделя, день, каждый новый номер «Огонька», «Знамени» или «Юности» приносили что-то новое. Большая была стена, мощная, хоть и трухлявая, и мы отколупывали от нее по кирпичику, не соображая, что будет, если вся эта конструкция обрушится на наши головы. Нынче говорят, что надо было не так, ставят в пример Китай, и дядька мой то же самое твердил, когда мы с ним сидели в Купавне и он стучал огромными кулаками по столу на террасе, клялся Ниной Андреевой и товарищем Лигачевым и клял Яковлева с Шеварднадзе.

– Убить их мало было! Куда КГБ смотрело? С кем боролось? Почему проглядело?

Но я все равно любил и люблю конец восьмидесятых. Мне жутко нравилось видеть, как день за днем мы отыгрываем, вырываем кусочек свободы и то, что вчера казалось невозможным, сегодня становится фактом. Сначала ругали только Сталина, а прочих ни-ни, но однажды я с изумлением прочитал в «Вечерней Москве», как писатель Астафьев назвал Брежнева чушкой, и вот тогда-то я и понял, что это конец. При дорогом Леониде Ильиче я родился, вырос, ходил в детский садик и в школу, я помню, как печально и жалостливо смотрела на нас учительница обществоведения Нина Ефимовна, когда он умер. И хотя мы высмеивали дефекты его речи и рассказывали про него анекдоты, все равно прочитать в советской газете «чушка Брежнев» – это было нечто запредельное. Не просто повторение оттепели, а самая настоящая весна – с грохотом разбивающиеся сосульки, потоп, ледостав, грязь, наводнение – и этого уже было не остановить. Да, батюшка, журналисты, режиссеры, писатели были в ту пору нашими героями и шли впереди всех. Я ходил на встречи с ними в какие-то дома культуры, окраинные клубы и даже стадионы, куда опять же не могли попасть все желающие.

Они говорили страстно, дерзко, умно; я слушал, как в студенческом театре МГУ на улице Герцена старенького поэта Наума Коржавина, приехавшего по случаю из Америки, умоляли прочитать про декабристов, которые разбудили этого самого Герцена, а маленький смешной Наум в очках с крупными линзами отнекивался, потому что боялся подставить тех, кто его сюда пригласил.

На том вечере, кстати, произошла одна история, которая поначалу показалась мне смешной и нелепой, а потом, наоборот, серьезной. В зале, где нынче православный храм, а тогда стояли рядами кресла и на месте алтаря была сцена, народу набилось невероятно много. Люди сидели на подоконниках, толпились в дверях, тянули головы, хлопали – и вдруг интеллигентная тетенька с красиво уложенными волосами и припудренной родинкой на массивном подбородке вскочила с места и исступленно закричала, вытянув палец:

– Уходи, немедленно уходи! Память, память...

Весь огромный зал, вздрогнул, обернулся, и я не сразу понял, что этот перст указывает на меня.

– Провокатор, черносотенец, антисемит!

Я не мог ничего понять, а только чувствовал, как все вокруг застыли в напряженном ожидании.

– Пусть он немедленно уходит!

Челюсти при этом работали у нее так жутко, будто она хотела меня сожрать. Подслеповатый Коржавин на сцене замолчал и обиженно выпятил нижнюю губу, а до меня не сразу дошло, что тетку сбила с толку борода, которую я отрастил сразу после военных лагерей и показался ей членом националистического общества «Память». Однако ж до какой степени были наэлектризованы, взвинчены люди, если несчастная, клочкообразная пегая борода, отращенная для пущей солидности молоденьким студентом, заставила мощную даму на незнакомого парня публично нападать и вынудить его с позором уйти. А между тем мы были с ней единомышленниками, и я, как и она, как и миллионы советских интеллигентов, балдел от происходящего, стоял по утрам в очередях за газетами, а ночами смотрел бесконечные трансляции со съездов народных депутатов, с упоением и абсолютной верой слушал двух следователей с дач купавинской прокуратуры Гдляна и Иванова – она ломалась все быстрее эта старая махина, скрипела, крошилась, шла трещинами и сама не верила в свое исчезновение. И мы не верили в это тоже. Но скажите на милость, как она могла выстоять, когда в восемьдесят седьмом году мой ровесник, девятнадцатилетний немецкий пацан, аккуратно в день пограничника пролетел полстраны на маленьком самолете и сел на Красной площади возле собора Василия Блаженного? Потом все спорили, что это было: тщательно спланированная акция Запада или обыкновенное российское головотяпство, потом про перестройку кинулись говорить, что то была национальная трагедия, предательство, пятая колонна, либералы, масоны, космополиты, агенты влияния. Но какие на хрен либералы, какие, отец Иржи, масоны, если первыми по улице Горького прошли те самые памятники, в принадлежности к которым меня обвиняла милая женщина из студенческого театра МГУ, а потом они же два часа терзали в Моссовете бедолагу Ельцина?

Говорят, нечто похожее случилось и в семнадцатом году. Тоже повывлезала разнообразная шпана и тоже все ликовали – долой царя, да здравствует свобода, демократия, а потом драпали за границу или забивались в подполье. Но если бы тогда мне сказали, что вот я иду и ору, счастливый,

свободный, во всю свою юную глотку «Долой КПСС!», а потом за это буду нищенствовать, потеряю семью, родину, смысл жизни, я бы все равно орал «Долой!», а коммунистов, за то что они дважды погубили мою страну – и когда пришли и когда уходили, – не люблю еще больше.

Горячо-холодно

Но я отвлекся, простите, я буду часто отвлекаться, болтать и сам себе противоречить. Так вот, пятый курс проходил в угаре, но не учебы, а устройства жизни, иногородние женились на москвичках, а самые продвинутые – на иностранках, девицы торопились выскочить замуж, кто-то мечтал прорваться в аспирантуру, а кто-то остаться на кафедре. Меня не ждало ни то ни другое, учился я посредственно, но все равно мне было грустно уходить из университета, который я любил и всегда гордился тем, что я московский студент. Я верил, что в Москве есть только один университет, и позднее мне сделалось ужасно смешно, когда какой-нибудь институтишко вдруг начинал величать себя университетом. Мне был двадцать один год, я ждал от этой цифры чего-то необыкновенного, и в голове у меня роились романтические мечты завербоваться на Север, на Соловки или на Дальний Восток, на Курильские либо Командорские острова, узнать жизнь, поработать в районной газете, поездить по стране, и, наверно, жаль, что я этим мечтам не последовал. Однако подвернулась работа в головном издательстве, дурацкая, младшим редактором, и дядюшка Александр уверил мою маму, что это шанс, который глупо упускать, – карьера, рост, перспектива.

Вы хотите узнать про моего отца? Он умер, когда я был ребенком. Меня воспитывала мама и ее братья. Матушка второй раз замуж она не вышла, и я не знаю, больше ли во мне теперь благодарности за то, что в моей жизни не было человека, которого я должен был бы называть – не знаю как, папой или дядей Васей, или вины перед ней. Это обстоятельство, кстати, роднило нас с Петей, хотя мы о нем никогда не говорили.

Но вы опять меня перебиваете, а в ту минуту с новеньким синим дипломом в выдавшем виде дипломате я размышлял о том, как мы поедем к Тимоше на Фили, где у нашего общего друга Алеши Тимофеева была квартира в добротном кирпичном доме, принадлежавшем Западному порту, и мы собирались там отметить окончание универа. Только сначала надо было запастись спиртным, что в девяностом году было делом немислимой сложности, ибо и водка, и вино продавались по талонам в очень немногих магазинах, так что надо было выстаивать огромные, бесформенные очереди, в которых диктовали порядки шпана и алкаши.

Я уже размышлял, куда бы нам поехать, на Киевскую, Красногвардейскую или может быть, Лодочную улицу. Там был один укромный, мало кому известный магазинчик на берегу Химкинского водохранилища, куда можно было перебраться на речном трамвайчике от Речного вокзала, а дальше пройти пешком вдоль воды, и именно в эту минуту я увидел ту девушку. Она была похожа на чью-то младшую сестру или, может быть, невесту, правда, для невесты слишком молода, она пришла, должно быть, с кем-то из тех, кто получал сегодня диплом, но стояла одна, и было похоже, что она потерялась, как теряются маленькие дети. Эта ее незащитность мне напомнила одно мое старое обязательство.

– Ты кого-то ищешь?

Она кивнула.

– Кого?

– Вас.

Повторяю, она мне, правда, кого-то или что-то напоминала, но я ее, конечно, не узнал, потому что она очень изменилась, как меняются, взрослея, девочки. Я только видел, что она страшно волнуется. Это волнение ощущалось во всем. Она волновалась, как волновалось Бисеровское озеро после семи часов утра, как волновалось купавинское поле, когда дул западный ветер, то есть я хочу сказать, целиком, полностью, каждой травиночкой, былиночкой, колоском. Простите, отец Иржи, я пробовал в университете писать стихи, очень плохие, и это, может быть, не слишком удачный образ, но именно так она волновалась, или, точнее, так я про ее волнение подумал. И это волнение странным образом притянуло меня к ней. Так волнуются, еще может быть, перед экзаменами. И мне сделалось смешно, потому что все свои экзамены в жизни я сдал и больше никогда не буду учить вопросы и вытягивать билеты.

А она вздохнула, опустила голову, и я почувствовал, догадался, что если я сейчас уйду, то эти прекрасные глаза наполнятся слезами, простите. Но я и не хотел уже никуда уходить.

– Может, вам подсказать? – спросила она упавшим голосом.

– Что?

– Ну там, горячо, холодно.

Я пожал плечами и сказал первое, что пришло на ум.

– Костер.

– Холодно.

– Картошка.

– Еще холоднее.

– Стройотряд?

– Нет.

– Общага.

– Холодно.

– Поход?

– Холодно.

– Осень.

– Холодно, холодно, – говорила она с каким-то невообразимым отчаянием, и, правда, холодом пахнуло посреди жаркого душного летнего дня, а потом незнакомка так порывисто взмахнула рукой, что я схватил ее за тонкое запястье, чтобы она не улетела, и эта порывистость опять же что-то мне напомнила. Но я все равно ее не узнавал.

– Метро.

– Холодно.

– Сессия.

– Холодно.

– Сплав. Байда. Рыбалка. Сачок. Колок. Портвейн. Буфет. Красновидово. Азау. Третье ущелье. Сандал. Античка. Старослав. Истграм. Инстаграм. Поцелуй. Тысяча поцелуев, моя Лезбия.

– Холодно, – и тут она так глянула, что меня как будто дернуло током.

Я оглянулся по сторонам – мы начали привлекать внимание.

– Ладно, давай по-другому. Ты меня давно знаешь?

– Да.

– А я тебя?

– Тоже.

– Я тебя раньше видел?

– Не видели, – согласилась она. – Потому что было темно.

– А ты меня?

– Много раз.

Она была так красива, так притягательна, и столько юной девичьей, женской прелести в ней было, что я оторопел. Платье на ней было светлое, легкое, оно просвечивало, но не вульгарно, а чуть-чуть, так что можно было только догадываться о юном, гибком теле под ним. Я опять подумал, что эта девочка ошиблась, перепутала меня с кем-то, и мне стало ужасно обидно. Нас обгоняли знакомые и незнакомые люди, на меня поглядывали с интересом мои нарядные накрашенные сокурсницы, надо было отойти, подняться или спуститься, чтобы уступить им дорогу, подскочил озабоченный, толстогубый Тимошка, похожий на зеркального карпа из прудов бисеровского Рыбхоза, и, намеренно не глядя на девушку, показал мне на часы, но время я знал и без него и все равно не мог сдвинуться с места – пропадал, растворялся в этих черных смеющихся глазах, еще не знавших наслаждения своей силой, смущенных, довольных, виноватых – в ней не было ни тени усталости, разочарования, жеманности или кокетства.

– Это было в Москве?

– Нет.

– В поезде?

– Нет.

– В самолете?

Она опять покачала головой:

– Я никогда не летала на самолетах.

– Я тоже.

– А зачем тогда спрашиваете?

«Ну же, ну же, вспоминай», – умоляли, плакали и смеялись ее глаза с дрожащими ресницами.

– А ты точно меня ни с кем не путаешь?

– Нет.

– Тогда скажи где.

– В Крыму.

В Крыму я был единственный раз в жизни, что значительно сужало поиск, но все равно вспомнить ее не мог.

– Пепито комэ лос пепинос, – неуверенно прошептали пунцовые нецелованные губы.

Я выкатил глаза – неужели это была?..

Комитет молодежных организаций

Простите, что я снова пью и плачу, иерей Иржи. Наверное, я действительно постарел, потому что сделался слезлив и сентиментален. Уже поздно, но не уходите, пожалуйста, а лучше позовите матушку Анну, может быть, она тоже послушает мой рассказ и станет ко мне чуть добрее. Ведь это правда, что я бесправный беженец и очень неаккуратный и, похоже, весьма бестактный, хорошо невоспитанный человек, но я никого не отравлял, не преследовал и не сделал никому ничего плохого. И скажите ей, что Крым у Украины мы не украли – слышите ли вы эту чудную аллитерацию и сохранится ли она в переводе на чешский? – ибо как можно украсть у самих себя наше общее место, где я впервые с Катериной увидался? Только поклянитесь мне, хоть я и знаю, что клясться у вас, у попов, не принято, пообещайте

мне тогда, что никогда вы не обратите против меня то, что я вам сейчас расскажу.

...Ровно за четыре года до этой встречи я сидел на десятом этаже стекляшки на кафедре античной литературы, пытаюсь пересдать латынь Зиновьевой, и, подглядывая в шпаргалку, канючил «Вивамус меа Лезбиа аткве аемумс». Это был мой единственный хвост. Я не умел учить мертвые языки. Живые кое-как мог, но к мертвым не лежала моя душа и никакой красоты и гармонии я в них не обретал. А у Зиновьевой не лежала душа ко мне. Она невзлюбила меня с того раза, когда на ее вопрос, как переводится *memento mori*, я ответил:

– Не забудь умереть.

И теперь ее раздражало все – духота в аудитории, пыль, ее вчерашний разговор с заведующей кафедрой, ленивые аспиранты, пожилой муж, курсовые работы, пересдачи и, наконец, мое неумение отличить акузативус кум инфинитивус от аблятивус абсолютус. А кроме того, Зина обожала Катуллу и мечтала поехать на озеро Гарда, где у ее античного божества две тысячи лет тому назад была вилла, но в большом парткоме опять отказали, хотя приглашение от Болонского университета приходило каждый год.

– Слушай, ты, дубовая роща, если ты будешь выдавливать из себя стихотворение о любви, как прыщ, у тебя ничего не получится с девочками.

Прыщей у меня сроду не было, а дубовой рощей она звала всю нашу идеологическую группу, куда набрали одних парней с рекомендациями из райкомов комсомола, сделав для нас отдельный щадящий конкурс, и кто мы были после этого, как не дубы?

– Выучишь и придешь через три дня.

И ушла, уверенная в себе, женственная, носительница латыни и древнегреческого, как жрица храма не знаю кого, Аполлона, Артемиды, Афины Паллады, презиравшая все, что произошло с человечеством после разрушения Рима варварами, один которых сидел перед ней.

А я поплелся по коридору. Я знал, что у меня не получится выучить стихотворение про прекрасную Лесбию и ее поцелуи, не получится запомнить дурацкие латинские конструкции и падежи, вряд ли меня за это вышибут из универа, но я точно останусь без стёпы, а эта стёпа долгая, с летними месяцами.

В учебной части не было никого, кроме маленького, очень живого ясноглазого человечка по имени Тиша Башкиров. Он посмотрел на меня с чрезвычайно озабоченным видом.

– Ты из какой группы?

– Испанской.

– Звонили из КМО.

– Откуда?

– Хлебалин заболел корью.

– Прививки надо вовремя делать.

– Он работал с делегацией перуанских партизан. Завтра в семь они вылетают в Симферополь, а оттуда едут в «Кипарисный».

– Корь заразна, у детей инкубационный период, и их надо посадить на карантин, а у меня латынь через три дня. Поцелуемся, моя Лезбия, не забудь умереть...

– За детей не переживай. А латынь, если полетишь вместо него, я тебе обеспечу.

Ясноглазый Тиша ведал в профкоме дефицитом, и у него были рычаги воздействия даже на неподкупную Зину.

Партизанская делегация состояла из трех человек – двух братьев, десяти и двенадцати лет, и их руководителя – плотного, крупного парня, моего ровесника, с маленьким смуглым лицом и курчавыми волосами. Он спустился с Анд и через месяц собирался туда вернуться. В Советский Союз Хосе Фернандес поехал, чтобы посмотреть на страну развитого социализма и подлечить желтые от коки зубы. Второе ему удалось, а вот СССР партизану не понравился абсолютно.

– Это не общество потребления, это общество суперпотребления, – проворчал он, обдавая меня зловонным дыханием, и стал рассказывать, как ходил в «Березку» покупать сувениры и как его там ободрали, потому что иностранец.

Как липку, хотел тупо состричь я, но у меня не хватало знаний, чтобы перевести для него нехитрую игру слов, и к тому же я не был уверен, что правильно его понял, ибо внучка испанской эмигрантки из Сантандера Елена Эммануиловна Винсенс учила нас в университете благородному кастильскому наречию с выговариванием всех положенных звуков, дифтонгов и согласованием времен, а у Фернандеса в его гнилом рту была каша и грамматика в принципе отсутствовала. С мальчишками было чуть полегче, корь к ним, по счастью, не пристала, сами они оказались очень сообразительными, быстро освоились в отряде, объяснялись с вожатыми и с другими детьми жестами, потом скоренько освоили языковой минимум, вплоть до площадных слов, и я им в принципе не был нужен.

Несколько дней я вообще не понимал, что от меня требуется и зачем сюда привезли. Я был второй раз в жизни в пионерском лагере, но от первого у меня осталось такое отвратительное воспоминание, что и теперь я с ужасом и состраданием смотрел на детей, которые ходили в одинаковой форме, жили по распорядку, играли в вышибалы, отправлялись после обеда спать, это называлось у них абсолют, и пели хором «вместе весело шагать по просторам». Однако оглядевшись, я понял, в какую лафу попал сам.

Переводчики в лагере жили вольготно, просыпались, завтракали, обедали и ужинали, когда хотели, днем писали пулю, а после отбоя собирались в беседке, пили крымское вино, слушали музыку, танцевали или шли на берег, разжигали костер, варили мидий и рапанов, купались в чем мать родила, а потом делились на парочки, причем всякий раз новые. Это было похоже на игру в ручеек, нравы были вольные и незамысловатые, никто никому ничего не обещал, но Зина как ведьма наколдовала. Меня они не принимали, как когда-то мы не принимали Петю в нашу компанию, а точнее, принимали с насмешкой. Я был всех моложе, а выглядел и вовсе ребенком, так что вожатые удивленно на меня смотрели, когда я попадался им после отбоя – из какого отряда и почему не в форме и не в постели?

Я страдал по всем пунктам, милосердный столичный народ, старшекурсники и аспиранты из иняза и МГИМО, владеющие разными языками от хинди до иврита, надо мною стебались, как издевались мы опять же над бедняжкой Петей. А та, на которую я смотрел больше других (она работала с югославами и держалась крайне надменно), исчезала в ночи с кем угодно, только не со мной. Чем меланхоличней я на нее таранился и пытался смешно ухаживать, тем откровеннее, назло она меня отталкивала. А потом закрутила роман с моим героическим партизаном, причем, поскольку испанского Аннушка не ведала, Хосе Фернандес потребовал, чтобы я до определенного момента переводил, после чего по его знаку проваливал. Не знаю, как она терпела его бой-

цовские ароматы и чем он запудрил ей мозги, я был в бешенстве и печали, бродил вдоль моря, швырял камешки, искал куриных богов, ловил скорпионов, таращился на звезды, рифмовал море и горе, и однажды услышал, как на лавочке кто-то плачет. Тихо, безутешно, всхлипывая и глотая слезы.

Сначала я даже не понял, кто это – мальчик или девочка. Коротко стриженные волосы, белая рубашка, выделявшаяся на черном фоне, ребенок, подросток, чадо. Только довольно полное. Я подошел ближе.

– Ты что здесь делаешь? Почему не спишь? – я попытался придать строгости своему голосу, и тогда пухлое дитя заплакало еще сильнее, как если бы мое присутствие освободило ребенка от необходимости таиться.

Пепито ест огурцы

Это была девочка лет двенадцати или тринадцати, пионерка даже не старшего, а среднего отряда. Признаться, я испугался и хотел поскорей уйти – а если нас вдруг увидят, то что подумают? – но она вцепилась в меня и не отпускала.

– Они не хотят со мной дружить, – прорыдала девочка.

– Кто?

– Дети.

– Почему?

– Говорят, что я заразная.

– Чем ты заразная? Что за глупости, тут всех проверяют, – возразил я, а сам подумал, что над ней смеются из-за бочкообразной фигуры, и тебе надо просто поменьше, дитяtko, кушать.

И она как будто это поняла и посмотрела на меня с укором – во всяком случае так мне почудилось в той зыбкой крымской тьме:

– Они говорят, что я радиоактивная.

– Какая? – я вытаращил глаза, среагировав сначала на слово «активная», ибо с детства терпеть не мог пионерских активистов.

– Я из Припяти, – всхлипнула толстущка.

Я вздрогнул. Это было лето восемьдесят шестого года. О чернобыльской катастрофе говорили постоянно, боялись страшно, проверяли щитовидку, мазали себя йодом и пили красное вино, но впервые я увидел человека оттуда. Она была беженка, отец Иржи, как и я теперь, и что-то пробежало, заискрилось между нами, что-то похожее на человеческую солидарность. И мой голос, и мое перехваченное сочувствием горло, и мурашки на коже – все это побежало от меня к ней как электрический ток. А девочку прорвало, она стала рассказывать, как они хорошо, как весело в этой Припяти жили, а потом все разом кончилось и воскресным утром – замечу при этом, матушка Анна, что авария случилась в ночь на субботу, и весь жаркий субботний день дети ходили в школу и играли на улице, – и только в воскресенье всех жителей собрали во дворе, велели взять с собой документы и запас продуктов на три дня и садиться в автобусы. Они уезжали, уверенные, что вернутся домой очень скоро.

Тут она опять разрыдалась и плакала очень долго. Внизу плескалось море, далеко на берегу развели костер мои старшие друзья и варили мидий, а я должен был утирать слезы несчастной девчонке, у которой в квартире навсегда остался кот Снежок, и этот кот якобы уже за три дня до аварии вел себя очень необычайно и бросался на стены, а до этого был такой ласковый и послушный.

– Нас привезли в Фастов, и там мальчишки орала, чтоб мы убирались вон и швыряли камни в автобус. Милиция смотрела и не вмешивалась. А потом нас всех отправили в больницу на осмотр. Сначала мы долго ждали, а когда я зашла в кабинет, то врачиха в маске старалась от меня подальше держаться, будто я крыса какая-то. И вообще они там все злые были. А одежду нашу всю забрали, выдали ужасные пижамы и волосы состригли. А у меня волосы были густые, длинные.

Я достал сигарету и закурил.

– А мне можно? – попросила она.

– Маленькая еще.

– Я уже пробовала.

Я обнял ее, и она затихла, согрелась под моей рукой. Так мы сидели не знаю сколько времени. Ночь была хорошая, пряная, южная, в третьем часу костер погас, и над морем встала ущербная луна.

«А вдруг она действительно заразная?» – мелькнула в голове подлая мысль, но я еще крепче прижал ее к себе:

– А какой у нас был город, какая школа. Я до сих пор поверить не могу, что туда не вернусь. А они стали говорить, что все правильно, вот мы так хорошо жили, все у нас было, а теперь пусть мы поживем плохо, потому что это справедливо.

Она подняла на меня глаза, они были огромные, влажные, взрослые и блестящие в темноте, а в них отражалось море со звездами:

– А вы тоже так считаете?

– Нет. И ничего не бойся. Я с этими козлами поговорю.

– Нет, не надо. Не выдавайте меня, не надо, пожалуйста, ни с кем ни о чем говорить. Обещаете? Лучше научите меня по-испански говорить.

Я растерялся.

– Как же я тебя научу за пять минут?

– Ну какое-нибудь предложение.

И тогда я сказал фразу, которой нас научила прекрасная Елена, когда мы отрабатывали на фонетике звук «р»:

– *Perito come los perinos.*

Девочка несколько раз повторила ее.

– Ну все, я пойду, вы только не выдавайте меня, пожалуйста.

Она порывисто, очень порывисто для своей тучности вскочила и исчезла в ночи, а мне сделалось ужасно грустно, и собственная печаль показалась такой мелкой, незначительной... Я пытался в оставшиеся несколько дней найти эту девочку среди ее сверстниц, но они все были такие похожие в этих синих шортах и белых блузках, и крупных, рано созревших среди них тоже было немало – в ответ на мои взгляды отроконицы либо смущались, либо начинали глупо хихикать, а спрашивать у вожатых, кто там из Припяти, я не стал – в конце концов, я дал ей слово. Но не забывал про нее, и когда смотрел по телевизору или читал в газетах про Чернобыль, то вспоминал девочку, ни чьего имени не знал, ни лица толком не разглядел – только помнил голос, недетские глаза и тихий сдавленный плач.

И вот теперь она стояла передо мной. Или не так. Передо мной стояла, матушка Анна, необыкновенно красивая, стройная девушка с длинными, густыми каштановыми волосами и очень живым, полным прелести открытым лицом. Она была ужасно похожа и не похожа на рыдающую в «Артеке» толстушку, а я еще не знал, как окажется переплетена с моей ее жизнь, но знал, что ничего более прекрасного и значительного в этой жизни уже не будет.

Одиннадцать одиннадцать

Конечно, это я сейчас для красоты так говорю, ни о чем таком я в ту пору не думал. Просто жил себе и жил. Но ни на какие Фили я, разумеется, не поехал, и мы пошли с этой чудной девочкой мимо главного здания гулять по Воробьевым горам, спустились к реке, и я важничал, как если бы все эти университетские уголья принадлежали лично мне, как маркизу Карабасу. Я правда очень любил эту местность, старался произвести на девушку впечатление и чувствовал, что мне удастся. Не помню уже точно, что я ей тогда рассказывал, но у всякого человека в запасе много историй, которые можно рассказать, а особенно когда тебя слушают так внимательно, упоенно, как слушала меня она и не слушал прежде никто другой. Да, представьте себе, дорогие мои, хотя вам наверное и трудно в это поверить, но мне почти никогда не давали в нашей компании голоса. Считали человеком неразговорчивым, неинтересным, да, наверное, я таким и был, но иногда мне очень хотелось поговорить, рассказать, найти того, кто станет тебя слушать и простит, если ты говоришь нескладно, коряво, путано, повторяясь, но зато искренне, от сердца. А Катя не верила, что все происходит наяву и она гуляет по Москве с большим мальчиком, о котором мечтала все эти годы. Конечно, это могло показаться и до сих пор кажется мне странным, но впоследствии Катерина рассказывала, что я даже не представлял себе, как много значил для нее тот разговор на берегу моря, как он поддерживал ее, когда они поселились в Белой Церкви и на приезжих смотрели косо, ибо квартиры, которые им дали, предназначалась людям, давно ожидавшим своей очереди на жилье, – и вся эта враждебность, злость, жестокость, оскорбления, которых, может, в действительности, было и не так уж и много, но все умножалось в ее голове – новая школа, одиночество, отчаяние, да и люди были там по характеру совсем другие, чем в Припяти, – а потом еще умер от лейкоза, а на самом деле от горя и несправедливых обвинений ее отец – все это она пережила лишь потому, что запаслась крымским воспоминанием и оно ее поддерживало, спасало, превращаясь в яростную мечту о нашей встрече.

– Когда мне бывало очень одиноко, я все время повторяла то по-русски, то по-испански: пепито ест огурцы, пепито ест огурцы. И представляла тебя.

Я, признаюсь, засомневался и подумал, что если живешь такой вообразимой влюбленностью, то можешь очень сильно разочароваться, увидев предмет своего обожания наяву. Но, должно быть, у девочек это происходит иначе или же Катя моя была исключением. А может быть, я был в ту пору не так уж и плох, не знаю, но впервые в жизни я шел с девушкой, не испытывая неловкости, не думая о том, что я непривлекателен внешне, и одет бедновато, и не остроумен, и не обаятелен. Я про все про это забыл.

Мы протопали черт знает сколько километров по набережной Москвы-реки до Парка культуры и дальше через мое любимое пустынное Остожье с его выселенными домами и заброшенными неряшливыми особнячками, мимо бассейна «Москва» – его тогда еще не закрыли – к Кремлю и Красной площади и дальше через Зарядье в сторону Ивановской горки. Стало совсем темно, но мне не хотелось с ней расставаться и нравилось, что она по-прежнему смотрит на меня с восхищением и я не кажусь ей смешным, глупым, инфантильным, в чем щедро обвиняла меня аспирантка Валя Макарова, с которой мы иногда встречались у нее дома, когда родители куда-нибудь сваливали.

– А если ты настоящий мужик и хочешь чаще, сними квартиру, – внушала мне аспирантка, но хорошо ей было так говорить...

– У тебя болезнь века – недорослизм, – ставила она мне диагноз перед тем, как перейти к заключительной части нашего свидания, а я возражал, что мне не нравится это слово:

– Оно плохо состыковано. Корень русский, суффикс иностранный.

Валечка считала себя знатоком русского языка и оттого раздражалась и оскорбляла меня еще пуще, отчего я и дальше чувствовал себя не вполне уверенно. И как же хорошо мне было теперь, когда я болтал всякую чепуху и ни думал о своей инфантильности.

Стрелка на моих часах внутренних приблизилась к половине первого, и пришло время прощаться с девочкой из Чернобыля, а прощаться ну совсем не хотелось, и тогда я сказал:

– А поехали, пока метро не закрылось, на Фили. Народ там до утра гудеть будет, – и представил себе, как мы приезжаем с ней на Новозаводскую и как на нас посмотрят, и все станут мне завидовать, а наши спесивые девки утрутся, но она покачала головой.

– Да не бойся ты, они классные ребята, поедим там чего-нибудь, вина попьем. Ты же голодная, – вспомнил я, потому что и сам почувствовал голод.

– Нет, – и помню, как меня удивила твердость ее возражения.

– Тогда... – я закрутил головой по сторонам и выпалил: – а давай тогда – в Купавну!

Она не стала спрашивать, ни что это такое, ни где находится, ни сколько и на чем туда ехать и кто там живет. Она как будто только и ждала того волшебного слова.

Курский вокзал был совсем недалеко, она успела позвонить тетке, сказать, что домой не придет и быстро-быстро повесить трубку, и мы побежали на последнюю захаровскую электричку, которая уходила ровно в час ночи. В вагоне, кроме нас, никого не было, мы молчали, потому что обоим вдруг стало понятно, что мы перешли черту, за которую уже нельзя вернуться и, согласившись поехать с полужнакомым парнем к нему на дачу, она лишала себя возможности отступить, а я брал на себя ответственность за ее согласие. И когда мы вышли на пустую, еле освещенную платформу и зашагали по дороге моего детства мимо круглой станционной пивнухи, вдоль однопутной железной дороги, мимо участков Минвуза, ЗИЛа, общества слепых, химиков и энергетиков, вдоль березовых холмов у дач имени восьмисотлетия Москвы, когда шли краем прокурорского поля, не касаясь друг друга, по всему этому темному, моему родному, теплему, гулкому пространству, где я нашел бы дорогу с завязанными глазами, то ни о чем не говорили.

Я никогда не забуду, матушка Анна, ту ночь. Она была облачной, беззвездной и какой-то особенно густой, будто бы не конец светлого июня, но август стоял на земле, и кто-то задвинул над нами полог, чтобы тьма длилась дольше положенного.

В дачном домике было тепло и тихо. Пахло сухим деревом, мотыльками и старыми газетами. Я включил свет на террасе, несколько бабочек и малярийный комар забились в стекла и вокруг абажура. Мы были страшно голодны, но, к счастью, в шкафчике нашлись сухари, а в подполе консервы и самодельное вино, которое изготавливал дядюшка, я нарвал в ночи зелени, лука, первых огурцов и последней редиски, Катя пожарила на сковородке тушенку, а после легла со мной так просто, как если бы мы были мужем и женой. И все, что произошло между нами

на кровати, где я засыпал ребенком, где просыпался и звал бабушку, когда мне становилось страшно, где я вырослел и мне начали сниться стыдные сны, – все было невыразимо трогательно и странным образом, бестелесно. Телесность, чувственность пришли позднее, а тогда мы просто понемногу узнавали друг друга.

Да, матушка, не знаю, как у вас, а у нас в те времена завоевать любовь девушки, добиться близости с ней – это все было не так уж просто, здесь требовалось время, терпение, уважение, и каждая девушка сама для себя определяла, когда это может произойти. Тогда у девочек еще были – не знаю, как это правильнее сказать, – понятия о чести или пред-рассудки, но мало кто рискнул бы согласиться на такое на первом свидании, а тем более если это случается с тобой в первый раз. И то, что она с такой легкостью, ни в чем не сомневаясь, мне доверилась, показалось мне невероятным даром, чудом. А может быть, ничего странного здесь и не было – ведь она ждала этой ночи четыре года, и я уж точно не был для нее случайным человеком. Но только и у меня, отец Иржи, тоже было ощущение, что со мной все произошло впервые, а если что-то и бывало раньше, то лишь для того, чтобы я не тыкался, как слепой котенок.

Утром я проснулся поздно, когда солнце на стене моей комнаты показывало 11 часов 11 минут, в доме было тихо, и никого не было рядом со мной. Я испугался, что то было лишь сонное видение, вскочил и в одних трусах выбежал в сад. Стояло нежаркое позднее утро, посреди огорода опершись на лопату, возвышался мой дядюшка, приехавший из Москвы на последней электричке перед дневным перерывом, и что-то оживленно Кате рассказывал. Давно я не видел его таким довольным. А она сидела на корточках в моей клетчатой дачной рубашке, быстрыми ловкими пальцами прореживала морковь и смеялась. Она была все-таки настоящая хохлушка. Надеюсь, это звучит не обидно?

Неразумные

Матушка что-то быстро спрашивает у мужа, тот так же быстро отвечает, и на этот раз я не понимаю ни слова. Но, похоже, это связано с возможными сельскохозяйственными работами на их участке. Что-то вроде того, где бы им найти такую же расторопную трудолюбивую украинку, потому что от этого бездельника толку все равно никакого. В душе я с ней соглашаюсь, но, поднимаясь к себе наверх, думаю о том, что хотя бы чуть-чуть загладил вину и заработал себе, как Шехерезада, право находиться здесь еще одну ночь. Смотреть дальше я боюсь. Я всегда жил, ни на что не рассчитывая и не думая о будущем. По-английски это звучит очень коротко. *Save tomorrow for tomorrow*. Во всяком случае именно так пели в рок-опере «Иисус Христос – супер-звезда», которую в школьные годы я слушал часами. По-русски выходит длиннее: не заботьтесь о дне завтрашнем, ибо завтрашний день сам о себе позаботится. Но, правда, и деньги, и карьера, и успех – все это были для меня бранные слова, и, может быть, поэтому я оказался никому не нужен в родной стране в ее другие времена, как не нужен никому сегодня в чужой. А впрочем, в моем нынешнем убогом и непрочном существовании все не так уж и плохо, одно только меня огорчает: здесь нет книг на русском языке. То есть, может быть, где-то – в библиотеке или в местной школе – они и есть, но идти мне туда ни к чему, а в доме у священника ни одной. В гостиной, правда, стоит книжный шкаф.

Половина его открыта, а вторая закрыта на ключ. Что там находится, не знаю, но в открытой части чешские книги, и я страшно скучаю по нашему круглому шрифту, по милой моей кириллице. Ей-богу, впору начать писать лишь для того, чтобы было что читать.

Чтение для меня с детства занятие физиологическое, я не могу даже спокойно есть, когда у меня перед глазами нет написанных слов. Говорят, это вредная привычка, а я без книги скучаю, томлюсь, злюсь. Как можно заснуть, не прочитав что-нибудь на ночь? Или, наоборот, не взять книгу, среди ночи проснувшись? И оттого теперь мне так неуютно, тоскливо, пусто. Наверное, надо было бы взяться за изучение чешского языка, но я чувствую, что это мне уже не по силам. Языки надо учить в юности.

Единственная кириллическая книга, которая мне в этом доме доступна, – Библия. Она, правда, на старославянском, по которому, как и по латыни, у меня был в универе твердый неуд, и только снисходительное отношение добрейшей Марины Максимовны к дубовой роще превратило его в неверный уд, но все же читать Евангелие я могу, и странное чувство вызывает у меня эта книга! Я прочитал ее впервые очень поздно, когда уже учился в университете. До этого только мечтал, как о какой-нибудь «Лолите», но даже ту найти было проще. Библия несла печать запрета, о ее содержании я мог лишь гадать, и кто такие Христос, Пилат, Иуда, Мария Магдалина и апостолы, узнавал все из той же рок-оперы. Но когда с сигаретой во рту я впервые прочитал Евангелие, оно меня поразило. Триллер, драма, психологический детектив. Теперь мне стыдно про эту сигарету вспоминать, и едва ли я признаюсь в ней отцу Иржи, однако когда я перечитываю знакомые сюжеты, мне хочется не то чтобы с ними спорить, а тянет задавать вопросы.

Вот, например, притча о блудном сыне. Меня всегда задевала в той истории участь старшего сына. Мне его почему-то ужасно жалко. Хотя по своей судьбе и по грустным итогам моего полувека я куда больше похожу на его непутевого младшего брата, я все равно очень хорошо понимаю обиду первенца, которая и в самом Евангелии высказана очень отчетливо и даже нарочито, намеренно подчеркнута. Так что, строго говоря, это притча не о блудном сыне, но о сыновьях и братьях вообще.

Старший ведь, правда, очень и очень обижен на своего отца. И это – справедливая обида. В самом деле, если много лет он усердно ему служил и ни в чем не смел ослушаться, то почему не заработал даже малейшей похвалы и награды? Или это, как и многое в Новом Завете, скрытая полемика с Ветхим, с книжниками и фарисеями, которые не такие, как этот мытарь? Но ведь, кстати, и с фарисеем все не так однозначно, как кажется. Все привыкли порицать его за то, что он похваляется своими добродетелями, но пусть критики скажут – постыятся ли они столько же, сколько он, сохраняют ли целомудрие, наконец, приносят ли каждый месяц в храм десятую часть своей зарплаты? Я таковых не знаю. Да и в Евангелии разве фарисей осуждается? Там сказано лишь то, что он выйдет менее оправданным, нежели мытарь. Менее оправданным, но вовсе не осужденным, и то лишь потому, что поступки фарисея ожидаемы, а мытаря нет. Но это хорошо один раз так прийти в храм и покаяться, а дальше что с мытарем будет? Опять станет грешить, обирать простой народ и бить кулаком себя в грудь, какой я сякой? Или сам превратится через год в фарисея?

Мне нравится размышлять на эти темы. Возможно, потому, что Евангелие так устроено: в нем грешник всегда лучше праведника. Блудни-

ца – тех, кто ее побивает, самаритянка иудеев, заблудшая овца овец послушных, даже закатившаяся монетка стоит вопреки всем законам арифметики дороже девяноста девяти. По сути, это бунтарская, мятежная, революционная книга. За исключением одной истории – притчи о разумных и неразумных девах. Я ее не понимаю. Вернее, даже не так – я ее не принимаю. В самом деле, так ли уж велик проступок пятерых девушек, у которых не оказалось масла, чтобы навсегда оставить их за дверью брачного пира? И разве их боголюбивые сестры не могли с ними поделиться? Ведь нас с детства учили: надо делиться с другими тем, что у тебя есть. Неужели бережливость разумных не противоречит евангельской заповеди о любви к ближнему? О да, конечно, на эту притчу наверняка есть толкование и под девами надо понимать то-то и то-то, а под маслом что-то еще, но я так устроен, что понимаю все буквально: девчонки, вам правда жалко было масла для своих подруг? Или вы не догадывались, чем они рискуют, уходя в ночь? Как вы могли их отпустить и неужели будете с чистым сердцем ликовать и праздновать на пиру с Женихом, зная, что из-за вашей скупости, ну хорошо, пускай, осмотрительности и мудрости кто-то остался в беде? Да лучше бы вам всем этого масла не хватило! И я вам больше, девочки, скажу: если бы вы, разумные, попали в беду, то те, глупые, вам бы помогли, не оттолкнули, потому что они грешнее, а значит, и добрее вас.

Зато история с благоразумным разбойником, правда, трогательная до слез и ужасно достоверная. Есть какие-то штрихи, детали, когда вдруг начинаешь понимать: такое невозможно выдумать, и это было на самом деле. Разбойник ведь не просит у Спасителя взять его в Царствие Небесное, он даже не дерзает помыслить о таком, ибо руки у него в крови и он за дело распят на кресте. Он просит о самом малом. Ты вспомни меня, пожалуйста, когда придешь в свое царство. Только вспомни. И больше ничего. И за это смирение, за это малое получает большое. Но почему, если прощаются мытари, блудницы и разбойники, нет прощения пяти девушкам, вся вина которых состоит лишь в том, что у них не оказалось масла, что бы под ним ни подразумевалось?

Эти вещи меня волнуют, я верую в них, как умею, а еще мне нравится ход службы, я иногда прихожу к отцу Иржи, особенно по будним дням, когда в храме никого нет, и только зеленая лягушка прискакивает из ручья, садится на пороге, но не решается его пересечь. Я стою позади и пытаюсь разобраться в том, что в храме происходит, повторяю знакомые слова, но если бы меня спросили, чего же я тогда мешкаю, почему не переступаю порог и не примыкаю к верным, то я бы ответил так – мне еще рано, и я жду более позднего часа. Да, конечно, тут есть риск не успеть, никто не знает, когда за тобой придут и похитят, но ведь у меня есть дар чувствовать время, и одновременно с этим я думаю о работниках первого часа, которым выпало перенести полуденный зной. А что если у кого-то из них не хватило сил и он упал на меже? Или не выдержал и ушел в тень? Усомнился, заболел, да и сбежал с этого поля? Не лучше ли в таком случае заранее обождать и устроиться на работу позднее? В сущности, это та же расчетливость, что и у благоразумных дев. Или же я опять занимаюсь самокопанием и самооправданием?

Жаль, что я не могу поговорить на эту тему с отцом Иржи. То есть вопросы задать могу, но получу ли я на них ответы и не выйдет ли что-то еще более худшее, чем Евангелие с сигаретой? Не решит ли матушка Анна, что теперь мне окончательно нет места в их благочестивом доме с моим метафизическим бредом?

Алеша хороший

Мама не хотела никуда дочку отпускать – какая Москва, зачем она тебе? В Москве опасно, страшно. Учись в Киеве. Но она окончила школу и поехала туда, где жил я. Хотя, скорей всего, я преувеличиваю свою роль и Катя поехала бы сюда учиться и без меня. Как-то я спросил ее, а если бы у меня была девушка или я был женат, что бы ты тогда сделала.

– Отбила бы тебя.

– А если б не получилось?

– Ну это вряд ли, – усмехнулась она, и зрачки ее глаз враз стали узкими и колочими.

Катя собиралась поступать в Литературный институт на факультет поэзии, экзамены у нее начинались в августе, и мы жили в Купавне все лето, она готовилась, а я отгуливал последние в жизни каникулы, перед тем как отправиться в редакторское рабство. Как она объяснила матери бегство от тетки, не знаю, но позже я понял, что в ее характере было столько непреклонного, упрямого и своевольного, что никто не мог ее остановить. Потому что если эта тоненькая девочка что-то для себя решила, то ни при каких обстоятельствах она не стала бы уступать. Это было странное сочетание живости, гибкости, обаяния и внутренней жесткости, упертости, непреклонной воли. Но это все я начинал понимать позднее, тогда же я просто показывал ей свою Купавну – все места моего детства, старый и новый карьер, речку Камышовку, лес, озеро и среди прочего большой валун на прокурорском поле. Я рассказал тогда Кате про своего друга и инопланетян, не ожидая, как эта история ее поразит.

– Спаси Землю, – повторила она. – Я бы хотела сделать что-то подобное, но только не понарошку, а на самом деле.

Я посмотрел на нее удивленно.

– Если бы меня попросили отдать свою жизнь за какое-то важное дело, я бы сделала это не задумываясь. А ты?

– Не знаю, едва ли, – мне не хотелось врать, хоть я и боялся ее разочаровать.

Однако высокие мечты не мешали Кате быть очень практичной, ловкой, азартной и даже хищной. Я и сейчас закрываю глаза и вижу, как она заходит в высоких болотных сапогах и купальнике с удочкой в руках в Бисеровское озеро, и в эту минуту, ничего кроме поплавок, для нее не существует. Представьте себе, матушка Анна, она ловила рыбу впервые, но делала это так, будто занималась ужением всю жизнь. Я один только раз показал ей, как надо забрасывать, и вот она уже точным ловким движением отправила снасть в окно между кувшинками и через несколько секунд подсекла и вытащила золотого карася. В ней не было ни малейшей беспомощности – ой, я рыбку поймала, помоги мне ее снять или насади червяка, я боюсь, мне противно, жалко – нет, зато азарта до черта, и все у нее получалось, а если клевал окунь и заглатывал червяка, она опять же не просила моей помощи, доставала крючок сама. Да, это странно, но в ней было очень много взрослого. Только запястья и щиколотки были тонкие, как у ребенка, и когда я обхватывал их руками, то чувствовал такую нежность, такую жалость, простите... А может, она повзрослела из-за Чернобыля?

С утра Катя садилась готовиться к экзаменам, я помогал ей как мог, хоть и понимал, что ни в какой Литинститут она не поступит. Но не мог же я ей сказать, что туда огромный конкурс, а ее стихи банальны, скуч-

ны, в них нет ничего своего, и я просто говорил, что в поэзии ничего не понимаю, но мне нравилось смотреть на ее лицо, когда она читала, слышать ее голос, смотреть, как она сжимает свои детские руки, и думать о том, скоро наступит вечер и мы пойдем в мою комнату с тканым ковриком на стене, на котором волки преследовали в темном лесу сани, и я физически ощущал, как бояться и лошади, и люди, и неизвестно, удастся ли им спастись.

Днем она отрывалась от книжек и звала меня в сад. Я не любил дачную работу, мне она была скучна и утомительна, я больше тяготел к образу жизни нашей бывшей соседки, но вместе с Катей мне было весело делать все. Никогда наш участок не был таким ухоженным, аккуратным, как в то лето, и если бы новые времена не отменили кукиных оценок, мы получили бы первое место. А потом наступал вечер, мы возвращались на велосипедах с озера, сидели на террасе, ели салат из своих овощей, свою рыбу, и мне казалось, что нам ничего и не нужно от внешнего мира – только б он нам не мешал.

К ужину мы иногда звали дядюшку, который за несколько лет до этого построил на другом конце участка домик с односкатной крышей (такие строить не запрещали), Алеша приходил с бутылкой водки, наливал по чуть-чуть мне и ей, а сам выпивал остальное, хмелел и становился необыкновенно разговорчив. Он вспоминал службу в Германии, куда попал после окончания военной академии, и я представлял молодого, высокого, красивого офицера – победителя, не оккупанта, не завоевателя, а охранителя германской земли, чтобы никогда больше она не смела угрожать моей Родине и всему миру. И Катя обожала его в ту пору слушать, а я страшно ревновал, потому что знал: никогда в жизни мне не будет суждено стать воином, победителем...

– Ты уже сделал предложение? – спросил однажды Алеша с командирской прямоотой.

Мы с Катей переглянулись.

– Ей еще нет восемнадцати, – буркнул я, смущенный его бесцеремонностью.

Дядюшка неодобрительно покачал головой, и его нравственный жест был понятен без слов: значит, спать вместе можно, а жениться нет. Сам он женился молниеносно, когда приезжал на месяц из Германии в отпуск. Холостая жизнь в гарнизоне здорового мужика томила, и бабушка, больше всего боясь, что он женится на немке, подыскала ему невесту в Москве. Это была удивительной красоты женщина польских кровей, правда, Купавну она за бытовые неудобства терпеть не могла и если и приезжала туда, то только на такси за пятнадцать рублей и ночевать никогда не оставалась.

Она вообще была женщиной настроения – невероятно обаятельная, когда ей все нравилось, и фурия, когда что-то раздражало. Так что, строго говоря, история дядюшкиной женитьбы вряд ли могла служить примером для подражания, да и вообще, ну какой из меня был муж и какая из маленькой Кати жена? Мы были как дети, и все у нас было понарошку, мы не жили, а играли, баловались, одно слово – недоросли, и единственное, что она с самого начала взяла на себя, – следить за безопасными днями, и мы ложились вместе не каждую ночь или же... Простите, эти подробности уже наверное были бы совсем лишние, я просто хочу сказать, что нам было очень хорошо вместе во всем, и я окончательно понял слова Юрика про Светку и ее ухажера.

Язык и мова

Самое удивительное, что в институт Катя поступила. Правда, не на факультет поэзии, какого в Литературном институте и не оказалось, а были только поэтические семинары, но туда ее даже не допустили до экзаменов. Как она мне объяснила, не из-за стихов, а потому что:

– Нужен рабочий стаж, без стажа они не берут.

Возможно, это было и правильно – о чем ты станешь писать, если жизни не знаешь, но она-то ведь знала. И если бы это зависело от меня, то по такому критерию я точно сделал бы для нее исключение. Однако Кате повезло в другом: в тот год в Литинституте набирали группу художественного перевода с украинского языка, и ей предложили поступать туда.

– Я не хочу, – она заплакала. – Я не люблю украинский язык. Ну ладно еще английский, французский. Или лучше всего испанский. Да и какая я украинка? Я – Катя Фуфаева. У меня папа русский, мама русская, они приехали на станцию работать и здесь поженились. В школе нас заставляли мову учить, но кому она нужна? Все же всё понимали и ставили кому четверку, кому пятерку в зависимости от того, как выучил Шевченку.

Кохайтеся, чорнобриви,
Та не з москалями,
Бо москали – чужи люде,
Роблять лихо з вами,

– прочитала она нараспев.

– Это что? – я не понял почти ни слова.

– Это меня так в школе дразнили, – засмеялась Катя – меня всегда поражали ее переходы от печали к веселью и наоборот. – Поэма у Шевченки есть, «Катерина» называется, про дивчину, которую соблазнил и бросил русский офицер.

Она посмотрела на меня строго, и я тоже засмеялся.

– У меня дома никто не говорил на украинском. Ну, бабушка в деревне. Так я ее и так понимаю. А почему я должна все это учить? Я хочу писать стихи на своем языке, я люблю русских поэтов, Цветаеву, Бродского люблю, и что, я буду переводить их на украинский? «Я рада, що не хвора через вас». Бред какой-то. Нет уж, лучше я заберу документы, поработаю где-нибудь и на следующий год попытаюсь еще раз.

Я слушал ее, смотрел, как она взмахивает руками и мило гримасничает, как вздрагивают ее ресницы, и думал: Цветаева – ладно, Цветаевой все девочки увлечены, но Бродский? Он сложный, не для восторженных девчонок. А значит, ее выбор был неслучайным, и принялся возражать, говорить, что отказаться – это будет полная глупость и что она сама не понимает, как ей дико повезло, что в этот год случился набор именно в украинскую группу и она со своим аттестатом и оценкой по мове сможет в ней учиться.

– Да какая там оценка? Она же липовая! Я тебе говорю, никто ничего не учил и всем просто так ставили.

Однако убедил ее мой последний аргумент – если она заберет документы, ей придется уехать домой.

Странное дело, я вот теперь думаю, матушка Анна, из каких мелочей складываются большие события. В этом смысле Петя был, конеч-

но, прав в своем детском наблюдении, и из маленького атома наших отношений через много лет развилась катастрофа, масштаба которой мы еще не осознали. Ведь если бы она не пошла учиться и не выучила этот ласковый, трогательный язык так же профессионально, как выуживала золотых карасей из Бисеровского озера, то, быть может, и не было бы никакого майдана, ибо, по моему убеждению, сделавшаяся в самом центре Москвы на Тверском бульваре украинкой Катерина Фуфаева и стала той соломинкой, которая сломала хребет верблюду, или, если угодно, той бабочкой, чей взмах крыла вызвал цунами.

Вообще должен вам заметить, мои дорогие, что вся соль нашего с Украиной раздора заключается не в Путине, не в советском наследии, не в войне на Донбассе, не в газовой трубе, не в присоединении Крыма и не в голодоморе. Есть другая, более глубокая и, к несчастью, практически неустраняемая причина всех недоразумений, и связана она с тем, что украинский язык звучит ужасно потешно для русского уха, причем именно в тех ситуациях, когда сам этот язык становится страшно серьезен. У украинцев невероятно красивые песни, у них потрясающие есть две буквы – одна «и» с двумя точками, похожая на свечку, а другая – э оборотное, тонкое словно серпик луны. Их язык хорош, когда они поют, рассказывают сказки, когда говорят о простых вещах, он непревзойден в застолье, в любви, нежности, в разговоре с детьми, с родителями, с соседями, но стоит им перейти на речи государственные, как вся их неприспособленность к самоорганизации обнажает себя, и они это чувствуют, потому что больше привыкли говорить на эти темы по-русски, им самим переходить на украинский неловко, ведь русский язык здесь гораздо органичнее, точнее, полнее, гибче, глубже, и именно боязнь показаться смешными заставляет их совершать безумные поступки и желание уйти от нас как можно дальше. Вот в чем вся штука, и им надо либо с этим примириться, либо идти на нас войной. Вырвать все русское с корнем, как драл мой дядька сорняки и меня заставлял. Им надо все время себя доказывать. А им это несвойственно, тяжело, и потому они злятся еще сильнее. Разумеется, это только моя имперская, великодержавная версия, и я отдаю себе отчет в том, как чудовищно она звучит для любого украинского патриота и меня навсегда внесут за нее в «Миротворец», я догадываюсь, как сурово осудит меня за нее безупречно политически корректный философ Петр Павлик, а Катерина, если сегодня вдруг услышит, вцепится дикой кошкой и исцарапает мое лицо, несмотря на все наше расчудесное прошлое, но что поделать, если я прав и они это знают?

Твербул

Худошавый, очень серьезный умный парень с густыми жесткими усами, чем-то похожий на Максима Горького, но не такой длинный и мрачный, принял у Кати документы. «Критик, наверное, – подумал я с неприязнью. – Все вы тут гении от литературы. Зарежете бедную девочку. Она плакать будет, а мне ее опять утешать». Однако, представьте себе, она хорошо сдала экзамены, а потом удачно прошла собеседование – возможно потому, что понравилась ректору – он был человек светский, тонкий и ценил женскую красоту. А кроме того, Катюшка так упоенно рассказывала ему про Булгакова, про Андреевский спуск и «Белую гвардию», что он покорился. Так моя Катерина сделалась студенткой

Литературного института, и я со своим дипломом Московского университета вдруг ощутил какую-то ущербность. Нет, правда, этот чертов институтишко, занимавший пространства столько же, сколько даже не один наш факультет, а несколько кафедр, одно отделение, малюсенький, ничтожный, похожий на удельное княжество в сравнении с империей моего родного МГУ, какое-то Монако, Сан-Марино или Лихтенштейн, капризный вольный бутик посреди державной Москвы, превратился для меня в болезнь, наваждение, в причину нервного расстройства.

Я ревновал ее ко всему. К дворику со старыми деревьями, где якобы работал дворником Андрей Платонов и выметал поганой метлой нерадивых студентов, к древнему обветшалому зданию, в которое страшно было зайти – казалось, оно вот-вот рухнет под тяжестью лет, к лавочкам в саду и подоконникам, где курили все кому не лень, лежали разтрепанные книги и рукописи, и во всем этом ощущалась такая свобода, такая нега, сам воздух был пропитан вдохновением, как соляной раствор, который сейчас же начнет превращаться в кристаллы и выпадать талантами. Конечно, ее там будут окружать интересные люди, творческие, вольные, поэты, прозаики, критики – а кто был я? Обслуга, младший редактор, почти что цензор, занимающийся полной ерундой. Она бросит меня, встретит другого, более яркого, одаренного, речистого. Однако напрасно я так думал.

Много лет спустя, когда мы с Катей уже давно расстались, я встретил того парня из приемной комиссии. Он сделался известным писателем, держался несколько отстраненно, устало собирая комплименты своим романам, и небрежно раздавал автографы. Было заметно, как ему нравилась его слава, пусть даже он пытался это скрыть, но когда, подписывая у него книгу в магазине на Тверской, я напомнил писателю про Катю, всю его спесь как рукой сняло. Горький оживился и стал рассказывать, как все парни в институте были в нее влюблены, мечтали закадрить, дрались, бились, спорили, подкатывали к ней, но она всем отвечала, что у нее есть жених и она скоро выйдет замуж.

– У нас даже было такое творческое задание на семинаре. Написать его портрет. А где она теперь?

Его утомленные, опухшие от компьютера глаза уставились на меня с такой бесцеремонностью, что я почувствовал себя в рентгеновском кабинете, и мне захотелось исчезнуть, раствориться в этом пространстве и самому стать книгою с неприметной обложкой, задвинутой на самую дальнюю полку. Очередь, которая не поместилась в магазине и вывалилась на Тверскую, терпеливо ждала, те, кто стояли непосредственно за мной, благоговейно писателю внимали и смотрели на меня с интересом, а я думал о том, что, слава богу, никто так и не узнал, как я был далек от всех литературных фантазий и ни в какие герои не годился.

Однако вот какая штука, отец Иржи, ни моей маме, ни сестре Катя не понравилась. Я не сразу решился познакомить ее с ними, но в какой-то момент подумал, что пора. И – ошибся. Получилось плохо, натянуто, неестественно. Мне это было непонятно. Как можно было ее не полюбить, не оценить ее ум, красоту, нежность, хозяйственность, наконец – все то, что сразу же увидел родной мамин брат? И что это было, женская ревность, неприязнь и они приняли бы в штыки любую девушку, которую я приведу в дом? Или, наоборот, интуиция, и они уже тогда знали, что из-за Кати поломается моя жизнь?

Я не стал ни о чем спрашивать, в нашей семье отношения никогда не выясняли, до конца ничего не проговаривали, все происходило испод-

воль, по умолчанию, однако в глазах двух моих родных женщин третья оказалась лишней. Лимитчица, бесприданница, охмурила приличного московского мальчику с университетским дипломом – боже мой, какая это была глупость!

Не знаю, может быть, Катя повела себя не так, как они ожидали, может быть, от волнения она держалась во время нашей единственной общей встречи скованно, надменно или наоборот чересчур развязано, легкомысленно, и чем сдержаннее и недовольнее были мама и сестра, тем больше гордости и независимости проступало в ней, может быть, она слишком откровенно прижималась ко мне или была не так одета, я в этих вещах ничего не понимал, но почувствовал впервые в жизни, что семья не поддерживает меня, и это открытие привело меня в бешенство. Мы ушли с Катериной вместе и всю ночь ходили по бульварам, отвергнутые, несчастные, может быть, даже несколько упивавшиеся своей отверженностью, а потом поднялись на последний этаж доходного дома в Последнем переулке на Сретенке и там долго и горестно целовались...

И все-таки это был счастливый год. Я делал вид, что учусь быть редактором и снисходительно выслушивал советы своего старенького наставника Альберта Петровича, который гордился тем, что проработал в издательстве сорок лет, знал всех современных писателей и, как Моисей, водил их по советской пустыне и помогал обманывать цензуру. А Катя каждый день ходила в свой игрушечный институт, но очень часто мы сбегали – она с лекций, а я с работы – и гуляли по Москве, которая в тот год сошла с ума, митинговала, протестовала, разбивала палаточные городки и болтала, болтала, болтала. Мы смешивались с людьми, которые бог знает из каких медвежьих краев понаехали в столицу и искали правды, слушали самых разных ораторов, каждый из которых знал наверняка, как обустроить и спасти Россию, и мы все вместе им хлопали, шикали, кричали, свистели, подписывали письма, прошения, петиции и обращения и сами вступали в бесконечные разговоры и споры. Но больше всего меня поражало, как в огромной толпе внимание к себе привлекали не самые умные и талантливые, но самые наглые, самоуверенные, грубые люди, и ведь именно такие придут потом к власти. И у нас, и на Украине.

Да, это странный эффект человеческого стада, которое не то возмнило, не то действительно почувствовало себя народом и решило, что от него что-то зависит, но трагически ошиблось в выборе вожаков. Однако все это стало понятно позднее, а тогда после долгого молчания и сидения в советском заперти как же сладко было бродить от человека к человеку и не бояться стукачей, говорить, что думаешь, и знать, что ничего тебе за это не будет. После казенного совдетства, после строгой английской спецшколы, после чаевских лекций по диамату и истмату с их окончательной и полной победой социализма в одной отдельно взятой стране так трудно было поверить во внезапное полное его поражение, и мы как будто торопились надыхаться этим вольным воздухом, а вдруг переключат?

Так мы бродили по Москве – юные, чуткие, беспечные. Однажды вышли на «Парке культуры» из метро и увидели толпу, которая отеснила машины на обочину и валила по Садовому кольцу и орала во всю глотку «Долой КПСС!». Мы специально не стали заходить внутрь, а просто стояли и смотрели, как они шли мимо нас – свободные, счастливые, раскрепощенные мои сограждане, и этот поток казался бесконечным.

– Нет, на Украине такое невозможно, – произнесла вдруг Катя, и я не понял, чего было больше в ее голосе: досады или радости.

- Почему?
- Там все другое.
- Ничего, и до вас дойдет, – сказал я уверенно.
- Ох, лучше бы не доходило.

Не знаю, что она имела тогда в виду и помнит ли об этих словах сегодня, а я был настолько поглощен московской жизнью, что все происходившее вне Москвы, оценивал лишь в зависимости от того, насколько оно нас касалось. Для меня существовал один критерий: за перестройку ты или против, и я назвал бы братом или сестрой каждого, кто орал «Долой!», и всем было понятно, о чем речь.

Каммингс аут

На ноябрьские праздники мы снова поехали в Купавну. Было очень холодно, неуютно, серо, и наше милое летнее озеро, кое-где возле берегов уже прихваченное льдом, казалось тяжелым, чужим, колючим. По берегам лежал снег, и оттого вода была зловещей и безумно красивой. Снег медленно осыпался с наклонившихся деревьев и разбавлял ее черноту исчезающей белизной. Мы попробовали рыбачить, но леска обмерзала, не клевало, Катя, южное создание, скоро продрогла, и мы вернулись на дачу, но там было еще холоднее, ветер выдувал тепло из щелястого домика, тогда мы развели в саду здоровенный костер, а потом весело ругались с Кукой, который вместе с овчаркой Найдой прибежал из своей сторожки тушить наш пожар. Пламя отражалось в окнах домика, огромные тени метались вокруг, и Найда прыгала за ними, а стоило отойти от костра, как ты отказывался под такими холодными и яркими звездами, каких не бывает летом, и можно было поверить во все космические путешествия и в пришельцев, которыми мы пугали много лет назад Петьку.

Я рассказывал Кате, как зимой на третьем курсе ходил с Конюхом в поход по Кольскому полуострову, видел северное сияние, ночевал в палатке в лесу, причем спальные мешки мы соединяли и спали по несколько человек мальчишки вперемешку с девчонкам и и ничего. Самое страшное наступало утром, когда надо было надевать замерзшие за ночь, колом стоявшие штаны и влезать в окаменевшие ботинки, и высшим мужским благородством считалось высушить носки девушки у себя на животе.

- И с кем вместе ты спал? Кому сушил? – спросила Катя ревниво.
- Никому, ждал тебя.

Она покачала головой, а я спел ей песенку, которую однажды услышал от Тимохи:

если поесть нельзя так попробуй
закурить но у нас ничего не осталось чтобы закурить;
иди ко мне моя радость давай поспим
если закурить нельзя так попробуй
спеть но у нас ничего не осталось
чтобы спеть; иди ко мне моя радость давай поспим
если спеть нельзя так попробуй умереть но у нас ничего не
осталось чтобы умереть; иди ко мне моя радость
давай поспим
если умереть нельзя так попробуй помечтать
но у нас ничего не осталось чтобы помечтать
иди ко мне моя радость давай поспим

Я знал, что пою неважно, и в отличие от Тимофея у меня нет ни голоса, ни слуха, но мне нужно было ей это высказать, пусть чужими словами, раз нет своих, а потом мы легли в нашем холодном домике на моей отроческой кровати, крепко-крепко обнялись, и волки, которые гнались за санями на тканом коврикe, подходили к домику и дышали в наши спины. И ветер выл так страшно. Ууууу! Да, мы были очень сиротливыми, но поддерживали друг друга, я любил ее, и мне кажется, эта любовь вызывала лучшее, что было во мне спрятано глубоко-глубоко.

Я ведь вырос порядочным эгоистом – вы, наверное, батюшка, это уже заметили. А вы-то, матушка Анна, уж точно знаете. Но понимаете, мама после смерти отца боялась воспитывать меня строго и в чем-либо отказывать, она меня избаловала до невозможного, ей говорили, просили этого не делать и мои тетки, и сестра, но она была так всем напугана. С сестрой получилось иначе, мама полагала, что девочка крепче, гибче, она все вынесет, а мальчик хрупкий, может не выдержать, сломаться. Я не оправдываю ни ее, ни себя, а просто рассказываю вам, как было. И вот я хочу сказать, что с Катей я почувствовал, как меняюсь не только потому, что становлюсь разговорчивее, а потому что в моей жизни впервые появился человек, который был мне более дорог, чем я сам себе, – новое и совершенно удивительное для меня состояние.

Ночью пошел снег, он укрыл все пространство вокруг, и наш сад, наши грядки, кусты малины и смородины, яблони и вишни – все было покрыто плотным слоем снега. Сразу же сделалось теплее, ярче, светлее, мы дурачились, гонялись друг за дружкой, бросали снежки и падали в сугробы, а потом пришел Кука в кроличьей шапке-ушанке, валенках и овчинном тулупе. На этот раз он был недоволен тем, что мы наследили в переулке, но мы так смеялись, что он махнул рукой и стал смеяться вместе с нами и рассказывать про моего деда, с которым они на этих болотах вместе разбивали участки и вешали на кольях гадюк. И про мою бабушку, и про дядьку Алешку, еще молодого, неженатого. Про то, как дружно жили, ходили друг к другу в гости, играли в волейбол, отмечали праздники, и не было тогда между садами и огородами никаких заборов и споров, но после все это появилось и что-то важное из жизни ушло. Я слушал Куку с удивлением – никогда я не подозревал в мерзком старикашке такой сентиментальности, но потом он надоел нам своей болтовней, и мы пошли к станции. Там забились в теплую электричку и проспали до самой Москвы. Но когда я проводил Катю до общежития на улице Добролюбова и она исчезла в монструозном здании, снизу доверху набитом литературными гениями, ревность начала мучить меня и изводить все сильнее.

Я помню, как несколько ночей подряд просыпался в третьем часу и воображал себе поэтов, которые пишут в ее честь стихи, прозаиков, посвящающих ей романы, – трудно ли вскружить доверчивой провинциальной девочке голову? Напоить, охмурить, соблазнить? А может, кто-то уже так и сделал или делает сейчас, в эту минуту, а Катя просто все умело скрывает? Не решается прямо сказать? У них же там это просто. И каждый раз, когда мы встречались после ее семинаров в институте, я долго всматривался в Катину лицо, вслушивался в ее голос и пытался понять, не изменилось ли в ней что-то, не произошло ли, пускай случайно, нечто ужасное, необратимое, и оттого делался мрачен, напряжен, неразговорчив. А Катя не понимала, что со мной творится, тормошила меня, смешила, обижалась, тревожилась, задавала вопросы,

на которые я не знал, как ответить. Так я мучил ее и мучился сам, пока однажды она не сказала сквозь слезы:

– Я тебя очень прошу, Вячик, не бросай меня, пожалуйста. У меня, кроме тебя, никого нет. Ни родных, ни подруг. Никого.

Я посмотрел на нее пораженно: как, почему, откуда такие мысли возникли в ее голове, и не в силах больше терпеть неуклюже признался в том, что меня терзает.

Это было в середине декабря, мы шли по Тверскому бульвару, уже зажглись фонари, вокруг толпился народ, и я ожидал, что Катя рассмеется, а может быть, ей даже станет приятно и она воспримет мою ревность как свидетельство любви и собственной значимости, но она отнеслась ко всему с необычайной важностью. Мы дошли до конца бульвара, и там, возле Никитских ворот, семнадцатилетняя девушка, глядя на большую заснеженную церковь, остановилась, истово перекрестилась, а потом повернулась ко мне и сказала:

– Я никогда не была и обещаю тебе, что никогда не буду с другим мужчиной.

Она стояла передо мной юная, строгая, торжественная, в длинном драповом пальто и в пуховом платке, засыпанном снегом, ресницы ее дрожали, а черные глаза блестели в неверных московских сумерках и смотрели на меня, матушка Анна, так серьезно, так непреклонно, что какой-то частью души я вдруг пожалел, что выпросил, выклянчил у ребенка эту страшную клятву, смысла которой она и оценить-то не может. А потом обнял, прижал ее к себе, как когда-то в Крыму на лавочке над морем, но тревога моя не сделалась от этого меньше, и тем острее мне не хотелось никуда Катю от себя отпускать, а жить и делать все вместе с ней: ложиться спать и просыпаться, ходить в магазин, готовить еду, убираться, и чем приземленнее и проще будут наши дни и поступки, тем лучше. Кажется, я даже говорил об этом, целуя в холодные мокрые от снежинок щеки и в теплые губы, и мы снова бродили до полуночи, мерзли, а когда замерзали, то поднимались в чужие подъезды и там целовались.

Катя сказала, что есть смысл сходить к новому ректору, быть может, он разрешит нам жить в общежитии вместе, ведь все говорят, что это справедливый и великодушный человек. Однако я не хотел ни у кого одалживаться. Я тогда был гордым и еще не потерял веру в себя. А значит, надо было искать деньги, чтобы снимать квартиру. Пускай не в Москве, а где-то в пригородах, в Старой Купавне, например, в Балашихе или в Железнодорожном, там это могло быть дешевле. Я боялся, что Катя станет капризничать, но она была очень непритязательная, терпеливая, она видела, как я переживаю, и всегда поддерживала меня. Мне важно вам об этом сказать, потому что как бы ни складывались наши отношения потом – она была славным, добрым человеком.

Я не знал, что делать, и поехал на могилу к отцу. Кладбище находилось далеко от Москвы, и я бывал там не очень часто, но подобно тому как некоторые люди ходят в церковь, когда им плохо, так и я ездил к отцу и разговаривал с ним. Не помощи просил, а просто о себе рассказывал, и вот я стал говорить ему про Катю, мне кажется, он бы ее сразу полюбил и сумел бы убедить маму и Ленку в том, что она хорошая, верная. В тот день случилась оттепель, туман, я не сразу нашел могилу, ноги у меня промокли, но я курил и не уходил от ограды. А он смотрел на меня с фотографии на памятнике без креста, тридцатипятилетний веселый человек, и все понимал.

Господи, кому и зачем было надо, чтоб все это закончилось?

Голова Гоголя

В начале мая становится тепло, и Одиссей дает мне свой велосипед. Он плохо приспособлен для горных дорог, шины у него не надувные, а сплошные, преимущество их в том, что их невозможно проколоть, но зато они чувствуют каждую неровность земли. Переключатель скоростей отсутствует, и даже не на очень крутых подъемах мне приходится слезать и идти с ним в гору, и наоборот, свободно катиться вниз я боюсь, потому что не доверяю ни тормозам, ни своим рукам и ногам. Но все равно велосипед – это счастье. Я все чаще отпрашиваюсь у отца Иржи и, к неудовольствию матушки Анны, с утра укатываю на велике и гоняю целый день. Впрочем, гоняю – громко сказано. Это меня обгоняют блестящие профессионалы на горных велосипедах с очень толстыми или очень тонкими шинами, они презрительно проносятся мимо, низко наклонившись над рулем в своих обтягивающих штанах, крупных очках и шлемах. Я по сравнению с ними задышающийся чайник, «жигуль» перед «мерседесом». Этот дрындопед уступает даже купавинской «Украине» моего детства, но меня это нисколько не смущает. Сажу прямо, медленно кручу цепь и еду туда, куда заблагорассудится. Я не садился на велик, наверное, лет тридцать, последний раз это было опять-таки в Купавне, которую я объездил в детстве вдоль и поперек, и теперь мне жутко нравится вспоминать руками и ногами, всем своим телом, как это было. Наверное, я достиг того возраста, когда душа уже не просит ничего нового, а больше всего хочет вернуться в прошлое и делать то, что любила тогда.

Вокруг нашей дереvушки множество живописных мест, долин, ручьев, пригорков, озер с реликтовыми цветами, пещер и один городок. У него смешное название – Есеник. По написанию похоже на Есенин. Но ударение на первый слог, хотя корень может быть и общий, связанный с осенью. Городишко небольшой, со старыми домами, красивой площадью, ратушей, торговой улицей, школой, с железнодорожной станцией. Я качу по улицам, где совсем не слышно русской речи. Русские обыкновенно едут на запад, в Карловы Вары, и мне это нравится. Не хотелось бы встретиться с кем-нибудь из своих соотечественников. Но однажды в неприметном месте, в стороне от центра, среди обычных современных домов вдруг замечаю памятник. Это – голова человека на довольно высоком, выше человеческого роста прямоугольном постаменте, и она кажется мне знакомой. Подъезжаю ближе. Ба! Гоголь! Точно он, и внизу по-чешски что-то написано. Если я правильно понимаю, он тут лечился. Вероятно, в санатории, который находится выше по склону, и старинное, красивое здание, окруженное павильонами, беседками, открытыми бассейнами, скульптурными группами, аллеями и дорожками для пешеходных прогулок разной сложности и продолжительности, видно издалека.

Батюшки мои, я-то все думал про себя, что едва ли не первый русский, кто по своей воле ступил на эту землю, ан – нет. Вечером у грека залезаю в интернет и выясняю, что Гоголь бывал в здешних краях дважды, и оба раза его запихивали на несколько часов в ванну с холодной водой и энное количество воды заставляли принимать внутрь. Такие были методы лечения у местного доктора-самоучки, бывшего пастуха, который этот курорт придумал и был помешан на гидропатии и трудовой терапии. Кормил пациентов грубой пищей и заставлял с утра до вечера работать на свежем воздухе. В сущности, создал трудовой лагерь.

Первый раз Гоголю тут понравилось, и он написал матушке, что благодаря холодному лечению припадки его не так тяжки и страдания духа на время угасают. Но год спустя сжег в здешней печи второй том, а затем спасаясь от сурового пастушьего распорядка, сбежал из Есеника в бельгийский Остенде. Точнее, не из Есеника, этот городок назывался тогда по-другому, и жили здесь не чехи, а немцы, у которых потребность создавать лагеря, должно быть, в крови. Это другая тема, и мне от нее не уйти – хозяин дома, чей дух бродит по комнатам, ко мне взывает, и рано или поздно я буду должен докопаться до правды, хотя о судетских немцах здесь говорят очень неохотно. А точнее, просто молчат. Но Гоголь, Гоголь...

Через несколько дней снова проезжаю мимо памятника. Не случайно, нет – меня тянет к этому персонажу. Для Катерины он предатель, отступник, отказался от мовы в пользу клятого русского и был за это наказан безумием. А для меня? Я покупаю в «Потравинах у Адама» пиво и сажусь на асфальт напротив памятника. Голова Гоголя чуть наклонена и смотрит на меня печально, с укором, но и с какой-то усмешкой. Конечно, это трогательно, что чехи поставили ему памятник, и критиковать сей монумент было бы неловко, но положила руку на сердце, памятник не очень удачный. А впрочем, когда ему с памятниками везло?

Гоголь, Гоголь, кто вас выдумал и кто вы нам? Друг, враг, лазутчик, патриот, русский монархист или тайный украинофил? За что не любил вас Розанов, и знали ли вы, что в вашей стране произойдет? Как вы там сказали... Пушкин – это русский человек, каким он явится через двести лет. Ну вот, прошли они, эти двести лет, вот все исполнились, и что? Вам самому-то как? Нравится? Страну разворовали, ограбили, обкорнали, дворцов себе понастроили, лживых попов наплодили – кто? Пушкины? Мне стыдно за банальные обывательские мысли, но если я лузер, то почему в моей голове должны быть другие? А птица-тройка ваша дурацкая, а Русь святая, которую сторонятся другие народы? Сторонятся они, как же! Шарахаются от нее и гонят отовсюду! Вы даже вообразить себе этого, голубчик, не можете. Ни одному русскому царю такого не снилось. Даже тому, кто рыбу в гатчинском пруду удил, покуда Европа ждала со своими вопросами. И вам, Николай Васильевич, это все как? Нравится? Мчится она неведомо куда. Ну положим, не мчится, а еле тащится, только хотелось бы пусть приблизительно знать направление. Может, подскажите из выбранных мест в вашей переписке?

Я, кажется, не замечаю, что начинаю говорить вслух. Половина пятого, заканчивается рабочий день, мимо проходят люди, европейская воспитанность мешает им удивляться, кто-то думает, что я хочу рядом с этим памятником сфоткаться и предлагает свои услуги, а я пью не знаю какую по счету банку пива, смотрю на меланхоличную, все понижающую голову Гоголя, как какой-нибудь Евгений на Медного всадника, и мне чудится, что она увеличивается в размерах, превращаясь в чугунный шар, который скатится сейчас с постамента и станет крушить все вокруг. Ужо тебе! И понимаю вдруг, что не люблю его. Никогда не любил. Ни эти чертовы вечера на хуторе, ни мертвые души, которыми меня в школе душили и заставляли писать по ним сочинение, ни старосветских помещиков, ни Акакия Акакиевича, ни Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского, ни жену его Анну Андреевну, ни дочь их Марью Антоновну, ни судью Ляпкина-Тяпкина, ничего и никого, хотя помню все так, будто читал вчера. Колдун. Пасквилянт. Хитрый малоросс. О, если бы он был бездарен, если бы! О, как я Розанова понимаю,

своего милого, слабого, грешного, нежного и злого Розанова, каждой клеточкой своего существа ощущаю. Ты победил, ужасный хохол! Победил в девятьсот семнадцатом и победил сейчас. Это ты вызвал к жизни всех этих упырей, ты населил ими Русь, ты притащил в российскую империю украинскую нечисть и пустил ее в самую нашу душу, ты охмурил и отнял у меня Катерину. Как писал, сволочь! Дороги расплозились как раки, поднимите мне веки, редкая птица долетит до середины Днепра... Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, грустно жить на этом свете, господа. Вы гусак. А вы у меня Крым забрали. А вы нас с Европой рассорили. Идиоты, боже мой, какие мы все идиоты и как могли до этого дойти? Катя, Катенька...

Вечером сижу в кабаке и продолжаю изливать злобу на Гоголя, о котором грек первый раз слышит, но про памятник знает.

– Это который недалеко от бывших русских казарм?

– Каких еще казарм? Здесь что, стояла наша армия? – для меня это второй на сегодня есенецкий сюрприз.

– Как вошла в шестьдесят восьмом, так и осталась, пока в девяностом не выгнали, – бурчит Одиссей и наливает мне пива. – В санатории пробовали возражать, писали в Прагу, курортная зона, водолечебница и все такое, но русские настояли.

– Советские, – возражаю я раздраженно и дую на пену. – Не надо, пожалуйста, путать. Это разные вещи.

Грек пожимает плечами: ему все равно. А у меня, если покопаться в самом себе, ко всему этому двойственное отношение. Либеральная часть моего существа возмущена советской оккупацией Восточной Европы и подавлением свободы в чужих странах, она сочувствует тем, кто против СССР протестовал, выходил на площади, митинговал и бросался под танки. Но имперская ей возражает. Если мы отдали в войну миллионы – даже не сотни тысяч, а миллионы наших солдат за освобождение других стран и Чехословакии в том числе – то неужели в качестве, если угодно компенсации, не имеем права на защиту своих интересов? В конце концов за что тогда погибли наши люди и разве не хотели бы в первую очередь они, чтобы потомкам была от их смерти польза?

– Говорят, там служил Иржи, пока ваши не ушли, – нарушает мои диалектические размышления Одиссей.

– Отец Иржи? Бред какой-то. Как он мог служить в советской военной части? И кем? Капелланом? Никаких капелланов тогда не было, да и он совсем молодым был.

– Не знаю, так говорят.

Ну может, в обслуге, и вообще какое мне до этого дело?